

240

ГРАНИ

GRANI

Г
Р
А
Н
И

240

2011

2011

Oktobre – Décembre

ГРАНИ

Ежеквартальный литературный журнал

*Проза, поэзия, очерки современности, религия,
философия, публицистика,
литературная критика и пр.*

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества.

Почти полвека журнал публиковал произведения, которые не могли быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. В «Гранях» печатались произведения:

А. Ахматовой, Д. Андреева, Л. Бородина,
М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова,
В. Войновича, А. Галича, З. Гиппиус,
В. Гроссмана, Ю. Домбровского,
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,
С. Левицкого, Н. Лосского,
В. Максимова, О. Мандельштама,
В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы,
Б. Пастернака, К. Паустовского,
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,
А. Солженицына, В. Солоухина, В. Тарсиса,
М. Цветаевой, И. Шмелева, В. Шульгина
и многих других отечественных
и эмигрантских авторов.

* * *

И в новых условиях уже в самой России журнал будет следовать прежним принципам, в первую очередь публикуя произведения, помогающие восстановлению прерванных тоталитаризмом традиций российской культуры.



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов
Редактировали:
1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов,
Б. В. Серафимов
1947–1952 Е. Р. Романов
1952–1955 Л. Д. Ржевский
1955–1961 Е. Р. Романов
1962–1982 Н. Б. Тарасова
1982–1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч
1984–1986 Г. Н. Владимов
1986–1995 Е. А. Самсонова-Брейтбарт

С 1997 года
Издатель и Главный редактор
Татьяна Жилкина

Редакционная коллегия:
Алла Ависова, **США**
Белла Ахмадулина, **Россия**
Ирина Басова, **Франция**
Тамара Жирмунская, **Германия**
Геннадий Николаев, **Германия**
Екатерина Труш, **США**

**Москва–Париж–Мюнхен–
Сан-Франциско**

Г Р А Н И

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ THE RUSSIAN LITERARY JOURNAL

Год LXVI

№ 240

2011

СОДЕРЖАНИЕ

«Забывтый Богом и людьми...» 5

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Виктор ФИШМАН.

Быть немцем – это всеми делами
служить России. *Федор Степун* 6

ПУБЛИЦИСТИКА

Геннадий НИКОЛАЕВ.

Встреча с АДС 20

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Анна ФУНИКОВА.

«Из безбрежной мглы веков...» *Стихи* 35

Владимир АЛЕКСЕЕВ.

Без конца дни и ночи 45

Борис КРЯЧКО.

Трещина 70

Александр ЗОРИН.

«Грёзы земли...» *Стихи* 87

АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Александр КАЦУРА.
Окошко трамвая 98

Елена МУНТЯН.
Сон Инес 125

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Владимир СПЕКТОР.
«Откуда вы приходите, слова?»
Владимир Даль. Страницы жизни 139

Тамара ЖИРМУНСКАЯ.
«Что отдал – то твоё...» 153

Елена ЛЕВИНА.
«Они были молоды... Они были талантливы...» 171

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Андрей КРЫЛОВ.
«Былое нельзя воротить...»
Записки на полях оруджавоведения 180

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Алексей ПЯТКОВСКИЙ.
Воспоминания о Самиздате 215
Коротко об авторах 228
Содержание томов №№ 237–240, 2011 232

Обложка художника Н. Мишаткина

Эмблема – «Парус»

Художник И. Иогансон

ISBN 978-2-9534268-0-9

**Copyright © 2011
JOURNAL «GRANI»**

*Забывтый Богом и людьми,
спит офицер в конфедератке.
Над ним шумят леса чужие,
чужая плещется река.
Пройдут недолгие века —
напишут школьники в тетрадке
про всё, что нам не позволяет
писать дрожащая рука...*

Булат Окуджава

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Виктор Фишман

Быть немцем – это всеми делами служить России...

Как бы там ни было, Бог, случай или неизвестное нечто сохранили в изгнании жизнь тем, кого Советы выдворили из России в конце двадцать второго года. Бердяев написал множество глубоких и ярких работ, принесших ему мировую известность. Лосский оставил после себя капитальную «Историю русской философии» и ряд других сочинений. Сорокин, признанный во всем мире классик социологии, профессор Гарвардского университета, скончался в шестьдесят восьмом году в собственном доме в Винчестере, и в том же году Американская ассоциация социологов утвердила ежегодную премию его имени.

В этом ряду имя Федора Августовича Степуна* занимает достойное место. Все перечисленные выше личности были не только его друзьями, но и сподвижниками.

В толстых российских журналах неоднократно публиковались те факты его биографии, которые он сам описал в своей автобиографической книге «Бывшее и несбывшееся»**. Но этот двухтомник заканчивается событиями примерно со-

* 1884, Калужская обл. – 1965, Мюнхен – *Ред.*

** Нью-Йорк, изд-во имени Чехова, 1958 – *Ред.*

рокового года, когда он жил в Дрездене. Весь мюнхенский период жизни русского философа и писателя известен сегодня лишь узкому кругу лиц. Документы из архива Мюнхенского университета и беседы с еще живыми друзьями и учениками Федора Степуна помогли мне воссоздать этот важный период его жизни и творчества.

Скажем также, что произведения Степуна, написанные на немецком языке, как правило, незнакомы русскому читателю. Приводимые тут выдержки из этих книг и официальных документов впервые публикуются на русском языке в переводе автора статьи.

Откровения «Шиповника»

Напомним вкратце, что в тысяча девятьсот десятом году, после защиты в Гейдельберском университете докторской диссертации по творчеству Владимира Соловьева, он задумал издание международного философско-литературного журнала. Его статьи и книги о театре и кино заложили основы новой философии театра и принесли ему славу оригинального мыслителя.

Но, пожалуй, превыше всего для него были идеи христианства и правда жизни. Черта, которую провела октябрьская революция семнадцатого года между старой и новой Россией, прошла через душу и сердце Степуна. Он считал Ленина сущим дьяволом для своей христианской родины: не парадокс ли, что марксизм как фундамент теории пролетарской революции, глубоко вошел в сознание патриархальной и крестьянской России.

Одним из первых в России Степун понял заключенный в этой несовместимости страшный обман. В своем журнале^{*} он писал: «Развитие русской революции – сплошное предательство породившей его идеи. Ее идея – взрыв всех смыслов, ее развитие – замена одних смыслов другими; ее идея – взлет

^{*} «Шиповник», Одесса, 1922 – *Ред.*

на вершины бытия, ее развитие – бытовая суета у подножия этих вершин; ее идея – вся о невозможном, ее развитие – сплошное приспособление; ее идея – вещи зарницы; – ее развитие – борьба слепых точек зрения; ее идея – гул бездонного моря, ее развитие – искание брода в нем...».

Стоит ли удивляться, что советская власть не могла терпеть у себя такого мыслителя? В конце двадцать второго года он был выслан из России.

С двадцать шестого года Федор Степун начинает вести курс лекций «История русского духа» в Высшей технической школе Дрездена. Он считает своим долгом показать немецким читателям высоты духовных достижений России. Литературные портреты Толстого, Бунина, Достоевского, Горького, которые он создает в эти и последующие годы, относятся к лучшим в мировой литературе. На русском языке эти материалы печатаются в парижском русском журнале «Современные записки», где Степун работает внештатным редактором. Он ездит по Германии с лекциями и докладами о большевистской революции и положении крестьянства.

Но он не приемлет и заигрывания немцев с большевиками. Геббельс запомнил, наверное, что в книге «Лицо России и история революции»^{*} вышедшей в тридцать четвертом на немецком языке, Федор Степун, как всегда, дальновидно предупреждал своих читателей «о мелкобуржуазном, националистическом, пролетарско-социалистическом, эстетически-снобистском и религиозном, специфически-протестанском “феномене немецкого советолубия”». Не удивительно, что с приходом Гитлера к власти профессора Степуна отстранили от занимаемой должности «за русский национализм, практикующее христианство и жидопослушность».

И это при условии «чисто арийского» происхождения Федора Степуна: родословная Степунов по отцовской линии берет начало в Восточной Пруссии, а семейные хроники матери

^{*} Здесь и далее приведены переводы с немецкого, выполненные автором статьи – *Ред.*

сообщают о шведе Генрихе Иварсоне, служившем при Петре Первом директором порохового склада в Москве.

Интуиция философа

Тринадцатого – пятнадцатого февраля сорок пятого года, во время бомбардировки Дрездена Королевскими военно-воздушными силами Великобритании и Военно-воздушными силами США – тогда жертвы среди гражданского населения достигли сорока тысяч человек, – погибли его дом, архив и библиотека. Выстрелы советской артиллерии слышны в городе все сильнее. Нужно принимать решение: дожидаться советских войск или уходить на запад.

Среди эмигрантов первой волны и тех, кого советская власть вместе с Федором Степуном выгнала из страны в октябре двадцать второго года, ходят новые веяния: после такой жестокой войны что-то должно измениться к лучшему на их бывшей родине. Те, кто поверил в это и дожидался советских войск в Софии, Праге, Вильнюсе, жестоко за это заплатились: скажем лишь о том, что Карсавин закончил свою жизнь в сталинском лагере; Святополк-Мирский был арестован и судьба его до сих пор неизвестна; Савицкий был осужден на десять лет...

Так что интуиция не обманула Степуна. Вместе с женой Натальей Николаевной и сестрой Марго он переезжает из Дрездена на юг Баварии, в американскую зону оккупации. Кроме самых необходимых вещей, с ними был и чудом сохранившийся при пожаре портрет Владимира Соловьева, вывезенный из России...

Баварское министерство культуры разрешает ему продолжить в Мюнхенском университете тот же курс, который он вел в Дрездене. Вот подлинный документ тех лет:

«Я назначаю ранее исполнявшего обязанности внештатного профессора Высшей технической школы Дрездена Федора Степуна для продолжения его принадлежности к профессорско-преподавательскому составу как гонимого профессора

“Истории русского духа” на философский факультет Мюнхенского университета.

Министр просвещения и культуры Баварии доктор Франц Френд. 2 октября 1946 года»

С первых же лекций немецкие студенты были заворожены новым преподавателем. Этот слегка заикающийся профессор не только рассказывал им совершенно новые вещи, но и учил самостоятельно думать. Не раз после лекций они несли своего кумира – Федора Степуна – на руках до остановки трамвая. Автомобилей тогда у населения и в помине не было.

Не все так просто складывалось в эти первые годы в Мюнхене. То, что читал профессор Степун, не подходило под тематику ни философского, ни славянского факультетов. Идея преподавания «Истории русского духа» не нравилась заведующему кафедрой профессору Кошмидеру*. Маленький, сухонький, – полная противоположность тяжелой и высокой фигуре Федора Степуна, – он составлял расписание своих занятий таким образом, чтобы студентам приходилось выбирать, какие лекции посещать, его или Степуна. Поэтому Степун очень часто проводил семинарские занятия у себя на дому. Там же были написаны и все его послевоенные книги.

Квартира эта расположена на первом, если считать так, как это принято в России этаже, слева от парадной двери. В квартиру ведет достаточно низкая дверь, так что Федору Августовичу, при его высоком росте, приходилось, скорее всего, нагибаться, чтобы войти в квартиру. Его ученики и ученицы помнят, что здесь, в кабинете Степуна, висел портрет Владимира Соловьева, о котором уже упоминалось выше...

Один из последних учеников русского философа по Мюнхенскому университету, известный переводчик и писатель Фридрих Хитцер** – горжусь, что могу называть его своим другом – за год до своей смерти рассказал автору:

* Erwin Koschmieder, 1895-1977 – В.Ф.

** Friedrich Hitzer, 09.01.1935-15.01.2007 – В.Ф.

– Когда зашла речь о теме моей докторской диссертации, Степун сказал: «Что угодно, только не то, что может прославлять большевиков!»

Выход в свет каждой новой работы Степуна воспринимался в новой Германии как культурное событие. Особый успех выпал на долю книги о большевизме*. В ней он возвращается вновь к событиям сорокалетней давности, утверждая, что «большевистская революция была проведена “поверх” русской интеллигенции и это явилось причиной позднейшего порабощения народной воли, возникновения духовной борьбы, опорочивания идеи свободы в самом сердце испуганного Запада». Таким образом, говоря о России, Степун думает обо всей Европе.

В год выхода этой книги Федору Степуну исполнилось семьдесят пять лет. Одна из центральных мюнхенских газет опубликовала короткую заметку к юбилею, в которой перечислила основные вехи его биографии, подчеркнув активное участие Степуна в российской политике при правительстве Керенского. Над статьей – впечатляющий графический портрет Федора Степуна работы художника Стенгеля. Об этом портрете ранее мне ни от кого не доводилось слышать.

Мюнхенский университет обратился в министерство науки и культуры с предложением о присуждении Степуну академического звания и особых прав на продолжение преподавания. Как известно, в Германии по достижении пенсионного возраста – шестьдесят пять лет – уход на пенсию обязателен. Министерство отреагировало следующим образом:

*«Ректору Университета
город Мюнхен
17августа 1959 года.*

Касается предложения на предоставление права продолжения служебных обязанностей профессора Федора Степуна.

<...> В соответствии с § AGT в порядке исключения возможно рассмотрение вопроса о сохранении им обязанностей

* «Большевизм и христианское существование», 1959, Мюнхен – В.Ф.

гонорарного профессора и о присуждении академического звания. В предложенном случае следовало бы Мюнхенскому университету подготовить соответствующий доклад о необходимости одного планового места для профессора по старой теме «История русского духа» и обосновать его.

Советник Министра, доктор Кайм.»

Никаких дальнейших шагов университета в этом направлении мне обнаружить не удалось.

Идеи и принципы

В это же время Федор Степун вместе с о. Александром Древингом были озабочены другим. Речь шла о сохранении родного языка у русских детей младшего школьного возраста, живущих в Мюнхене. Ведь они ходят в немецкие школы и теряют родной язык! Философ организует «Общество содействия образованию русских детей и молодежи в Германии» и школу при нем. С этого времени и до самой своей смерти Степун был бессменным председателем общества, помогал школе деньгами.

...В конце июня шестьдесят третьего года в большом зале мюнхенского Института по изучению истории СССР проходила XV международная конференция «Современная литература и советская действительность». Директор Института Шульц в своем вступительном слове сказал, что «особую актуальность намеченной теме придал тот открытый конфликт, который возник в последнее время между советским руководством и представителями литературы и искусства...» Речь, естественно, шла о разгромной статье Ильичева в газете «Известия».

Вслед за Шульцем выступил профессор Мюнхенского университета Федор Степун. «Субъектом творчества является нация, а не общество или класс, и тем более не пролетариат...Надисторичность искусства ведет к “одновременности” творческого мира для таких гениальных поэтов, как Гёте, Данте, Гомер...». В протоколе заседания после краткого изложения этой речи написано: «Аплодисменты».

В феврале шестьдесят четвертого года в большом зале Prinz-Garl-Palais собралась элита мюнхенской публики: Баварская академия изящных искусств отмечала здесь восьмидесятилетний юбилей Федора Степуна. Среди выступавших были президент академии и декан философского факультета, на котором почти двадцать лет проработал Степун, а также известный немецкий славист, профессор Гейдельбергского университета Дмитрий Чижевский, давний друг Федора Степуна.

Именно он первым назвал Федора Степуна посредником двух культур, имея в виду не только русскую и немецкую культуры, но и культуры старой и новой эпох. Чижевский точно подметил, что в своих умозаключениях Степун часто полагался на свою интуицию и если допускал мелкие неточности, то это были не ошибки, а «мушки на лице истины».

Как и положено, с ответным словом выступил юбиляр. Не столько читая заготовленный текст, сколько импровизируя по ходу своего выступления, Степун кратко подвел итог собственного творчества. Он видит три наиболее значительные темы: первая – Отчизна-нация, вторая – детство, юность, солдатские годы и революционные апостолы; третья – любовь. Последняя может быть осуществлена, по мнению Степуна, не с «интересной», а только со «значительной» женщиной, «так как все только интересное отходит в этом случае на второй план».

Публикуя отчет об этом вечере в газете «Süddeutsche Zeitung», известный немецкий журналист Карл Уде – отец нынешнего обербургомистра Мюнхена, обратил внимание на отношение Федора Степуна к науке и искусству. Если в мире науки старые авторитеты очень часто низвергаются более молодыми, то в мире искусства такое невозможно: «Данте не исключает Гомера, Гёте не исключает Данте. И все же современное искусство, угодившее, по-видимому, под диктат науки, мечется от одного нового слова к другому, стараясь попасть в ногу со временем, забывая при этом, что в искусстве имеет значение не последнее слово, а то, которое было В НАЧАЛЕ ...»

Газета «Abendzeitung» – как бы подтверждая слова Дмитрия Чижевского, приводит отрывок из первой повести Федора Степуна «Записки артиллериста»*, где он пишет, скорее всего, о себе самом: «...Он не был настоящим русским, он не был настоящим немцем, он имел немецкие корни, но не был космополитом в смысле отсутствия индивидуальности... Быть русским – это означало для него всеми силами служить Германии; быть немцем – это означало для него всеми делами служить России...»

Федор Степун никогда не прерывал связи со своей родиной. Вот лишь один пример. Сын Бориса Пастернака, Евгений Пастернак, рассказывал автору статьи, что в его архиве хранятся многие письма Федора Степуна к Борису Леонидовичу. Особенно оживленной их переписка была в последние годы жизни поэта. А познакомились они еще в двадцатых годах. Это подтверждают строчки из «Воспоминаний о Блоке» Андрея Белого:

*«Второй мусажетский кружок, философский, тогда соби-
рался под руководством Ф.А. Степуна. Я бывал очень часто
в нем, деятельно принимая участие в прениях, среди участ-
ников, посещавших кружок философский, запомнился юноша
Б.Л. Пастернак (ныне крупный поэт)».*

В первом и единственном номере журнала «Шиповник» двадцать второго года, редактором которого был Федор Степун, напечатана повесть Бориса Пастернака «Письма из Тулы». На весь мир именно из этого журнала разлетелись ставшие знаменитыми пастернаковские строки: «Какое горе родиться поэтом!»

В декабре шестьдесят второго года мюнхенский Институт по изучению СССР готовил сборник статей о Борисе Пастернаке. В нем принимали участие Струве, Франк, Зайцев, Степун, другие писатели и философы из Америки, Европы, Австралии. Статья Степуна, в которой рассматриваются философские аспекты «Доктора Живаго», заканчивается сло-

* 1917 год, в немецком варианте «Als ich russischer Offizier war»

вами глубокой благодарности «поэту, любящему Россию, и России, любящей поэта».

Так чувствовал русский философ Степун свою неразрывную связь с Россией.

Черты характера

Похоронив дорогую Нину, Федор Августович ни разу не пришел к ней на могилу. Видимо, берег в душе ее живой образ. Это каким-то образом увязывалось с его принципами. О принципиальности Федора Степуна интересные воспоминания оставил бывший работник Министерства культуры Баварии профессор Ганс Майер.

«... я познакомился с ним лично во время лекций, которые он читал в пятидесятые годы во Фрайбурге. Он говорил абсолютно свободно, по крайней мере, это производило такое впечатление, был совершенно независим от манускрипта – с сильным басом, проникновенными образами, множественными импровизациями, с юмором и темпераментом. Я вспоминаю об одном эпизоде, когда на него “напал” его идейный противник, на что Степун ответил: “У него нет глаз в голове, у него только протезы в точке зрения”» *(Так звучит в изложении Ганса Майера прямой перевод фразы Федора Степуна с немецкого языка на русский. Возможно, это лучше перевести так: «У него нет собственной точки зрения, потому что стоят протезы вместо глаз» – В.Ф.)*.

Такого рода доклады были редкостью в сухой, академически сдержанной университетской атмосфере того времени. Степун знал, как завести людей, на его лекциях оживленно аплодировали, пораженно замолкали и оглушительно смеялись.

Историю из тех дней, примерно пятьдесят седьмого года, рассказал мне мой фрайбургский учитель Арнольд Бергстрэссер, либеральный протестант. На одном из заседаний в Майнце он вступил в оживленную дискуссию со Степуном.

Спор длился после ужина до поздней ночи, потом продолжался на улице, во время блужданий вокруг собора:

«Когда мы уже расстались, Степун с другой стороны соборной площади окликнул меня зычным голосом: “Арнольд, ну ты кто, христианин или иезуит?” Я думаю, что такой вопрос был типичен для Степуна, который не выносил половинчатости, его принципом была целостность, как в религиозном, так и в политическом смысле. Степун навсегда останется в моей памяти мощной личностью, блестящим оратором, области знаний которого никак не ограничивались философией и социологией»*.

Последний день

Умер Федор Августович Степун у себя дома двадцать третьего февраля шестьдесят пятого года. Герта Шульт, последняя спутница его жизни, рассказывает:

«Вечером двадцать третьего февраля <...> мы с Федором Степуном и одной хорошей подругой были в Академии изящных искусств на докладе Ганса Игона Гольтгусена о Гюнтере Грассе. Когда мы возвращались домой на моей старой машине, Степун молчал больше обычного. Я предполагала, что о Гюнтере Грассе ему было абсолютно нечего сказать: это был не его мир.

Мы остановились на Айнмиллерштрассе, на противоположной стороне от его дома и хотели перевести его через улицу. Очень бодро переступив через сугроб, он внезапно сел на землю. На мой вопрос, поскользнулся ли он или у него закружилась голова, он ответил: «закружилась голова». Далее мы не могли разобрать его слов. Наша спутница побежала в дом уведомить о случившемся его сестру Марго и ее подругу Галину Кузнецову, живущих в квартире на той же лестничной клетке, напротив квартиры Степуна. Я сидела возле него на корточках в снегу, поддерживая его. Когда я,

* Цитируется по двуязычному сборнику «Русский Мюнхен», Мюнхен, 2009 год.

наконец, увидела на другой стороне улицы двоих мужчин, я позвала их на помощь. Втроем мы с трудом донесли Степуна до его квартиры и положили рядом с кроватью, так как не в состоянии были его поднять, чтобы уложить в постель. Вскоре появились узнавшие о случившемся врач – хороший друг Степуна и православный священник Анатолий Древинг. Я до сих пор помню испуганный взгляд доктора, когда он увидел Степуна.

Вдруг Степун произнес по-русски: «Повыше!» Галина Кузнецова положила его голову к себе на колени. Держа свечи, мы опустились на колени, и так он умер, тихо, в окружении близких людей.

В последнее время перед смертью он чувствовал себя не очень хорошо. Он похудел, страдал от частой икоты и от болей, как он мне однажды признался. Возможно, эта легкая смерть избавила его от страданий»*.

Двадцать пятого февраля в русской ортодоксальной церкви на Титмонингерштрассе состоялась заупокойная служба, а на следующий день в тринадцать часов пополудни его похоронили на Nordfriedhof, Северном кладбище в Мюнхене. В мюнхенских газетах были опубликованы только три некролога: от Марго, сестры Степуна; от Института по изучению истории СССР и от Толстовского фонда.

Память

Известно, что в Германии за могилу нужно платить. Я предположил, что эту последнюю скорбную обязанность взял на себя Мюнхенский университет и обратился к нему с запросом. Ответ огорчил меня: об этом у них нет никаких сведений.

Дальнейшие поиски показали: Федор Августович Степун был захоронен на сто двадцать девятом участке, но с восьмидесят восьмого года эта земля продана другой семье. Поиски

* Цитируется по упомянутому выше сборнику «Русский Мюнхен», Мюнхен, 2009 год.

памятника оказались безрезультатными. Назвать фамилию семьи, купившей место на кладбище, в управлении отказались: не положено...

Вместе с директором Библиотеки Толстовского фонда в Мюнхене Татьяной Ершовой мы обратились к обербургомистру Мюнхена господину Христиану Уде – сыну того журналиста, который в шестьдесят четвертом году опубликовал статью о юбилейном вечере Федора Степуна! – с просьбой установить мемориальную доску на доме № 30 по Аинмиллерштрассе, где почти двадцать лет жил и работал этот выдающийся посредник двух культур. Связь времен не должна прерываться! Тем более что установка мемориальных досок – в традиции мюнхенской администрации: по соседству, на доме висит потемневший от времени бронзовый барельеф с надписью «В этом доме с 1918 по 1919 год жил известный немецкий поэт Э.М. Рильке».

В этом начинании нас поддержала Президент Центра русской культуры «MIR» в Мюнхене Татьяна Лукина. Кстати, именно она является составителем и идейным организатором двуязычного сборника «Русский Мюнхен», где собраны бесценные воспоминания живущих сегодня современников и спутников жизни Федора Степуна.

Интересно, что во время сильных бомбардировок Мюнхена в апреле сорок пятого года дом по Аинмиллерштрассе, как рассказали автору живущие в нем старики, был разрушен; уцелел лишь первый этаж, где позднее находилась квартира Федора Степуна. Уж не рок ли войны преследовал философа?!

Три года спустя сбылись наши ожидания. В марте две тысячи четвертого года на доме, где жил и скончался русский философ, во время торжественной церемонии была открыта мемориальная доска работы мюнхенской художницы Марлины Нойбауер-Вермер (Marlene Neubauer-Woerner).

Выступали первый заместитель бургомистра Мюнхена госпожа Герттрауд Буркетт (Dr. Susanne Gertraud Burkett), члены Баварской академии изящных искусств и другие деятели

культуры. Были здесь и последние ученики Федора Степуна: Фридрих Хитцер, госпожа Ирина фон Шлиппе.

Санкт-Петербургский университет уведомил автора, что в адрес обербургомистра Мюнхена они направили письмо следующего содержания:

Господину обербургомистру города Мюнхена Христиану Уде.

Филологи Санкт-Петербургского Государственного университета радуются установке мемориальной доски на доме выдающего соотечественника, замечательного писателя, филолога, философа, социолога, педагога, мыслителя Федора Августовича Степуна и шлют сердечное приветствие Вам, господин обербургомистр, и гражданам города Мюнхена, давшим приют россиянину, который принес славу вашему городу.

Декан филологического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета профессор Сергей Игоревич Богданов.

4 марта 2004 года.

А живущие в Мюнхене Александр Гладков, генеральный консул Российской федерации, и сотрудники его консульства не сочли нужным явиться на эту торжественную церемонию – хотя все они получили официальные уведомления! Повторилась печальная история, чем-то напоминающая скудные некрологи по поводу смерти Федора Степуна...

И все же есть теперь единственное место в мире, куда можно приносить цветы в память о патриоте России, замечательном философе и педагоге Федоре Августовиче Степуне. Низкий ему поклон от признательных соотечественников!

ПУБЛИЦИСТИКА

Геннадий Николаев

Встреча с АДС

Впервые я услышал это загадочное АДС в начале пятидесятых, еще будучи студентом. Зашифрованное имя, как легенда, передавалось по секрету от старшего поколения студентов к младшему. Официально никаких сведений о нем не существовало.

Притягательность АДС легко объяснима, ибо все мы, физики пятидесятых, в той или иной степени были романтиками, ведь годы нашей учебы совпали с бурным развитием ядерных исследований и созданием атомной промышленности. И, наверное, каждый в душе мечтал попасть на объект к «самому АДС», где разрабатывалось нечто необыкновенное.

Наше воображение будоражили разговоры о гигантских заводах, подземных лабораториях, об опасностях и приключениях, которые, как нам тогда казалось, были неотъемлемой частью жизни и работы физика-атомщика. И Андрей Дмитриевич Сахаров, скрывавшийся под загадочным АДС, был для нас притягательной тайной...

С тех пор я по крупицам собирал все, что слышал или читал о нем.

Однако успехи мои были более чем скромными. Внутри системы Средмаша уровень секретности поддерживался высоко. Огромной находкой для меня стала публикация работы

Сахарова «Симметрия Вселенной» в сборнике «Будущее науки» за шестьдесят восьмой год. Работа показалась мне просто блестящей, но, помню, сильно огорчило отсутствие фотографии автора. У всех других были, а у него – нет! Однако, выдрессированный системой секретности, я понял, что «так надо», «для пользы дела». Хотя, не скрою, было болезненное желание увидеть лицо этого человека. Увидеться и даже беседовать с Андреем Дмитриевичем довелось через многие годы...

Однако мой атомный романтизм просуществовал недолго. Аварии в Усть-Каменогорске, на Ангарском комбинате, одном из действительно гигантских атомных заводов в Сибири, более близкое знакомство с системой Средмаша – все это не способствовало восторженному восприятию чудовищной действительности. Все «ядерное» стало вызывать неприятие, особенно – оружие, хотя непосредственного участия в разработках его я не принимал. Но где-то над оружием работал АДС, и я часто думал о нем...

В шестьдесят шестом году в московской средмашевской гостинице на берегу Москва-реки я встретил Виктора Пинаева, моего институтского товарища, после четвертого курса исчезнувшего с нашего горизонта. Мы знали, что Виктор добился перевода на объект к Сахарову, окончил там заочно институт, защитил диплом и теперь – уже кандидат наук, лауреат Ленинской премии, работает непосредственно у АДС. «Значит, клепаешь бомбы», – с подначкой сказал я. Виктор спокойно ответил, что совесть у них чиста, они работают «на равновесие». Впоследствии мы встречались с ним, переписывались, спорили...

Я ушел из системы Средмаша в том же году. За короткий период написал сценарий, из которого под жесткой доброжелательной критикой писателя Владимира Тендрякова и моих иркутских друзей – литераторов Марка Сергеева, Дмитрия Сергеева, Александра Вампилова, Юрия Самсонова возникла первая серьезная повесть «Плеть о двух концах». Она с трудом преодолела цензурный барьер, вышла в свет, была

замечена не только критикой, но и Главлитом, и нашему иркутскому цензору, пропустившему ее в печать, вклеили строга за «потерю бдительности». По этой книге я был принят в Союз писателей и возомнил себя готовым к новым «подвигам» на литературном поприще.

Следующая повесть «Большой Дрозд» стала попыткой прокричать миру об опасности, которую несет людям атомный монстр. Жажда прокричать производила впечатление, но не делала повесть действительно художественной. И тем не менее, прочитанная в «Юности», она была почти принята и планировалась в первый номер семидесятого года. Я даже получил «ласковое» письмо от самого Бориса Полевого! Для подкрепления будущей публикации «Юность» посоветовала получить отзыв от какого-нибудь атомного академика. Я тотчас подумал об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Нимало не заботясь о том, что ставлю на «боевой взвод» всю режимную систему «Центра», где работали он и Пинаев, я послал Виктору пространную телеграмму.

Ответ пришел на удивление быстро: Виктор обещал обратиться не к Сахарову, а к Якову Борисовичу Зельдовичу, тоже академику и тоже атомному, и сообщил его адрес. Но почему не к Сахарову?!

Однако я немедленно выслал рукопись по московскому адресу Зельдовичу с вежливой и, по-моему, убедительной просьбой прочесть и помочь. О сем шаге сообщил в «Юность», что вызвало в редакции, судя по звонкам и телеграммам, весьма положительные эмоции. С трепетом открывая по несколько раз в день почтовый ящик, я уже ощущал себя автором «Юности»!

Но жизнь развивается по своему сценарию, очень редко по нашему! К тому же, как сказал один мудрец, будь осторожен, когда просишь о чем-нибудь Бога – ты можешь это получить! Не прошло и месяца, как из «Юности» поступила тяжелая бандероль – мой бедный «Дрозд» и «Консультация» на бланке со штампом «Главатом», подписанная доктором технических наук Мороховым.

«Ознакомление с повестью, – писал в своем отзыве Игорь Дмитриевич Морохов, – приводит к выводу, что автор или сам работал на одном из предприятий атомной промышленности, или достаточно осведомлен о его деятельности... Повесть создает совершенно превратное впечатление об атмосфере жизни и работы людей описываемого предприятия. Так, проходящая через всю повесть мрачным фоном мысль об обреченности людей, работающих на атомном предприятии, совершенно не отражает действительного положения... Странная и мрачная “романтика”. Совершенно не соответствует действительности мысль о том, что вопросами профзаболеваний, в частности, “лучевой болезнью” занимались одиночки, энтузиасты... В период, описываемый автором, вопросы радиационной безопасности были строго регламентированы. Этому предшествовали работы больших коллективов научно–исследовательских организаций... Повесть безусловно вредна и с точки зрения привлечения молодежи для работы в этой очень важной отрасли промышленности».

Итак, «Юность» не получила разрешения. Зато я получил серьезный урок, и многое стало выглядеть в ином, точнее, более реальном, свете. Чернобыль, грянувший через пятнадцать лет, показал истинное положение дел и с радиационной безопасностью, и с «работой больших коллективов научно–исследовательских организаций», а уж чернобыльской «романтикой» наелась досыта не только наша страна, но хватило и капиталистическим странам.

А между тем, ответа от глубоко мною уважаемого ЯБ я так и не дождался, но меня вполне удовлетворил отзыв Морохова...

Встреча с Андреем Дмитриевичем произошла неожиданно для меня девятнадцатого октября восемьдесят девятого года в Москве, на улице Чкалова. Дело в том, что Ленинградским отделением издательства «Советский писатель» затевалась книга Андрея Дмитриевича «Мир, прогресс, права человека» в экспресс–серии «Новинка года», и для решения вопросов

по будущей книге к нему собирался директор издательства Леонид Иосифович Трофимов.

Узнал я об этом в Москве на пленуме правления издательства, и у меня возникла мысль об опережающей публикации книги в нашей «Звезде». Леонид Иосифович любезно согласился взять меня с собой к Андрею Дмитриевичу, если хозяева не будут возражать. По телефону разрешение было получено, и на следующий день в одиннадцать ноль-ноль мы с букетом цветов стояли перед квартирой № 68.

Нас встретила Елена Георгиевна Боннэр, извинившись, проводила на легендарную сахаровскую кухню. Предыдущие визитеры не укладывались в регламент, и нам было предложено подождать.

Ждать пришлось недолго, мы перешли в большую комнату. Из смежной комнаты вышел Андрей Дмитриевич – поздоровался, опустил в кресло, вытянув длинные руки, сложенные вместе. Руки, выброшенные вперед, обращали на себя внимание прежде всего. Лицо, глаза уходили на второй план. Одежда вообще не отличалась чем-то особенным – нормальная домашняя одежда, на первый взгляд...

Деловая часть беседы об издании книги прошла в стремительном темпе. В руках, брошенных вперед, появились очки – сначала одни, потом – другие. Стремительно прочитан договор, просмотрены бумаги. Никаких амбиций, никаких претензий, никаких «особых условий»! Похоже, Андрей Дмитриевич был смущен тем, что его «скромную» книгу удостоили чести издать экспресс-серией. Да еще с послесловием!

Трофимов сказал, что хотел бы обратиться к Гранину, чтобы тот написал послесловие. Сахаров живо согласился, он хорошо знает Гранина и будет приветствовать, если Даниил Александрович согласится написать несколько слов. Елена Георгиевна кивком выразила согласие. Андрей Дмитриевич, путаясь в очках, подписал договор, заготовленный Трофимовым, заметив, что это, пожалуй, первый договор на книгу в советском издательстве. Елена Георгиевна шутливо добавила: не только договор первый, но и гонорар будет первый – в

таком «грандиозном» размере. Андрей Дмитриевич сказал, что срок выпуска вполне приемлем, и добавил с улыбкой: «И гонорар – тоже».

Возник вопрос о возможном сокращении книги – Леонида Иосифовича беспокоило то, что по условиям типографии объем ее не должен был превышать определенного размера. Надо ли давать полное перечисление имен в Нобелевской лекции?

Нельзя ли чуть съэкономить хотя бы на этом? Андрей Дмитриевич задумался и, вдруг вспомнив, обеспокоенно сказал: «А вы знаете, что «Лекция» была опубликована в «Вопросах философии»? Это вас не смущает?». Это нас не смущало. Неожиданно Андрея Дмитриевича позвали в соседнюю комнату, а мы трое стали обсуждать возникшую проблему. Когда он вернулся, то тотчас, волнуясь, но твердо произнес свой вердикт: сокращать готов что угодно, но не имена. Трофимов вздохнул с облегчением: самый деликатный вопрос решен! Впоследствии ему удалось обойти трудности, и книга вышла в полном объеме.

Потом Андрей Дмитриевич повернулся ко мне. Он уже знал, зачем я здесь, но все же попросил повторить суть дела. Времени у нас оставалось не более пяти–семи минут, в кухне уже ожидали своей очереди следующие визитеры.

Я ужасно торопился и волновался. Суть, говорил я, в том, чтобы успеть до выхода книги опубликовать рукопись в «Звезде». «А это можно? Это прилично?» – спросил он, обращаясь к Елене Георгиевне. Пока мы говорили, она внимательно изучала рекламную листовку «Звезды» на девяностый год. И когда Андрей Дмитриевич обратился к ней, она, пропустив его слова мимо ушей, воскликнула: «Андрюша! Смотри-ка! Они будут печатать мемуары Григоренко!». Сахаров молчал, наклонив голову. Блуждающая улыбка трогала губы. Казалось, он не расслышал то, о чем говорила Елена Георгиевна, казалось, он ждет ответа на свой вопрос, но я ошибся. «Ну, что ж, – сказал он, – вместе с Петром Григорьевичем я согласен, приличная компания...».

Андрей Дмитриевич отложил очки на подоконник, повернулся ко мне со сложенными полураскрытыми ладонями и спросил, где я работал, чем занимался и что имею сообщить. Он весь как-то по-особенному сосредоточился на мне, отогнав своим вниманием шум и суету, доносившиеся из смежной комнаты. Держал меня в своем «поле» цепко, мягко, глядел испытующе и доброжелательно. Протянутые ко мне руки...

Само собой собралось главное, что было в жизни и о чем стоило сказать этому человеку. Мечта – экспериментальная физика, но реальностью стала атомная промышленность, Средмаш. Почти десять лет. Было страшное разочарование, однако циником не стал. Пацифистом – тоже. Против зла нужна сила. Добро, зло и сила – это что, вечное? Андрей Дмитриевич пожал плечами. Не берусь пересказывать дословно, но смысл его ответа был таков: прогресс возможен при постоянном усилии в правильном направлении...

Как физик я понимал, на какой аналогии строится утверждение, но что такое «правильное направление»?! Позднее, когда прочел рукопись его будущей книги «Мир, прогресс, права человека», я нашел ответ. Вот он: «Отойти от края пропасти всемирной катастрофы, сохранить цивилизацию и саму жизнь на планете – настоятельная необходимость современного этапа мировой истории. Это, как я убежден, возможно лишь в результате глубоких геополитических, социально-экономических и идеологических изменений в направлении сближения (конвергенции) капиталистической и социалистической систем и открытости общества...Нужно новое мышление человечества!».

Я молчал, думая, что разговор закончен, но вдруг Андрей Дмитриевич спросил: «А что вы делали?» – явно имея в виду Средмаш. Сказал, что сначала проектировал, потом внедрял проекты в жизнь. Работал на комбинате, состоящем из двух заводов: «С» и «Т». «Что это такое?» – спросил Андрей Дмитриевич. Я ответил: «С» – гидрохимия, производство гексафторида урана, «Т» – разделение изотопов в газовой фазе. Он кивнул – дальнейшее ему было ясно.

Его настойчиво звали в соседнюю комнату. Он извинился, вышел. Елена Георгиевна, листавшая десятый, свежий номер «Звезды», крикнула: в том, о чем они там спорят, прав Боря. Андрей Дмитриевич вернулся чуть растерянный, но, подумав, согласился и с облегчением, что избавлен от какой-то явно не принципиальной проблемы, махнул рукой.

Леонид Иосифович попросил фотографию на обложку книги. Желательно в профиль. Елена Георгиевна заметила, что в профиль Сахаров похож на Буратино. Андрей Дмитриевич сначала удивился, затем поддержал шутку, сказал, что мог бы рассчитывать на более лестное сравнение. Елена Георгиевна с грубоватой ласковостью ответила, что не намерена даже ради него приукрашивать действительность: что есть, то есть.

В ее тоне, во взглядах, которые она бросала на мужа, чувствовалась мягкая снисходительность, какая бывает у любящей матери, когда она разговаривает с любимым ребенком. Теперь ярко вспоминается и внешность «ребенка»: в коричневых вельветовых брюках, потертых на коленях, в стоптанных шлепанцах, сутулый, в старой кофте, узкогрудый, плечи перекошены – одно выше другого, седые легкие волосы чуть вздыблены, рубашка по-старомодному с длинными углами воротничка, которые торчат трогательно-небрежно. Все это вдруг резануло по сердцу...

Елена Георгиевна быстро подобрала нужную фотографию: не в профиль, а в фас – с телефонной трубкой в руке.

Мы явно не уложились в отпущенное нам время, но хозяйка успокоила: «Боря съел ваше время, вы съедите немного у австралийцев, ничего, посидят на кухне». Пробежала глазами по содержанию номера «Звезды», который я преподнес как верительную грамоту, и высказала несколько резких, но, надо признать, справедливых суждений.

У Елены Георгиевны, как мне показалось, ум «быстрого реагирования». И принцип – говорить все, что на уме. Это, возможно, некий антикомплекс: настоять на своем, не поддаться, не сломиться, выстоять в любой ситуации, даже среди

своих. Видимо, такова была ее жизнь – заставила быть на чеку, грести против течения, преодолевать сомнения и страх. Отсюда привычка говорить прямо, без хитростей, без дипломатических уверток.

У Андрея Дмитриевича, напротив, более активная внутренняя жизнь и кажущаяся внешняя невозмутимость, бесстрастность, «несердитость». Огромная внутренняя сосредоточенность и отсюда – некоторая запоздалость эмоционального реагирования, о чем он сам замечал в своих чрезвычайно глубоких и искренних «Воспоминаниях».

И еще несколько штрихов к портрету Сахарова.

То, что для собеседника могло быть целым, для него, возможно, бывало лишь частью, сектором, может быть точкой. И он с высоты своего масштабного обзора не всегда догадывался или успевал понять, что собеседник совсем в другом измерении, где-то там, почти на плоскости, в то время как он сам – кто знает, в каком измерении.

Может показаться, рационализм, даже практицизм мышления ученого находится в разительном контрасте с его общественной деятельностью. Не раз приходилось слышать и читать в официальных статьях о нем, дескать, умный, но наивный, поднялся в одиночку против системы. Кто-кто, а он-то должен-де знать, с каким монстром имеет дело...

Авторы статей не учитывали одного – Андрей Дмитриевич был гармоничным человеком, для которого деловой и нравственный аспекты жизни сливались воедино. У него была *одна* мораль, а не две, три или даже четыре, как нередко бывает у политиков и политиканов.

Еще писали о том, что уж больно простые вещи предлагает опальный академик: конвергенция, экая невидаль, еще американец Гэлбрэйт предлагал этакую гремучую смесь. Другие ворчали: общеизвестно! «Простота» философских концепций Сахарова – от умения докапываться до сути. Главное зерно обычно лежит среди таких же по внешнему виду других зерен. Но его ум отсеивал плевелы и «склеивал» зерна истины. Он указывал на главное среди общеизвестного! Н а г л а в н о е

зерно или звено! Умение выбрать главное среди множества – признак ума глубокого, ученого, гениального.

«Звезда» успела заключить с Андреем Дмитриевичем договор. К сожалению, по технологическим причинам – ближайший номер уже был сдан в типографию – мы смогли поставить материал только во второй номер с окончанием в третьем. Но Андрей Дмитриевич успел вычитать гранки. Возможно, последние гранки, которые довелось ему вычитывать. Отпечатанного журнала Андрей Дмитриевич, увы, уже не увидел. Его имя во втором номере появилось в траурной рамке...

На Первом международном конгрессе памяти Сахарова, состоявшемся в мае девяносто первого года в Москве, на двух больших стендах в фойе зала «Россия» были размещены фотографии и труды Андрея Дмитриевича. Среди них я с волнением обнаружил пять номеров «Звезды». В журналах были статьи, впервые опубликованные в СССР, вошедшие в книгу «Мир, прогресс, права человека», выпущенную в Ленинграде; было последнее интервью, данное Андреем Дмитриевичем в гостинице «Москва» съемочной группе Казахского телевидения для фильма «Полигон»; были главы воспоминаний об Андрее Дмитриевиче из книги его коллег по Арзамасу–16 Цукермана и Азарх; были не публиковавшиеся ранее у нас интервью Андрея Дмитриевича иностранным корреспондентам с предисловием Елены Боннэр...

Читая книги Андрея Дмитриевича «Воспоминания» и «Тревога и надежда», его выступления и интервью, ощущаешь мощную внутреннюю свободу автора, его искренность, открытость, чистоту помыслов. Постоянную критическую самооценку, зоркий самоконтроль, даже в самых, казалось бы, мелочах – качество столь притягательное, сколь и редкое среди пишущих. Огромно значение этой титанической фигуры во все периоды деятельности: и когда «делал» бомбу, и когда боролся за права человека.

Особенно уникально и поучительно движение Андрея Дмитриевича от «технаря» высочайшего, мирового класса к гуманисту столь же высокого уровня.

Но что, пожалуй, самое поразительное – книги эти написаны счастливым человеком, любящим и любимым, который нужен всему белу свету и которому нужен весь белый свет...

Многие писали о сложных отношениях между Сахаровым и учеными, не понявшими или не принявшими «другого», гуманистического Сахарова. Вот что пишет Торн, американский астрофизик и друг Зельдовича в книге, посвященной памяти Сахарова:

«Какой контраст между этими двумя людьми, Сахаровым и Зельдовичем! Внешне робкий и застенчивый Сахаров, у которого хватило мужества отстаивать гуманистические и политические убеждения. И Зельдович, внешне энергичный, сильный, самоуверенный, но при этом образец политической робости».

А вот признания Сахарова, сделанные им в его «Воспоминаниях»:

«Самые длительные отношения – вот уже более тридцати четырех лет – у меня с Яковом Борисовичем Зельдовичем*. Я приступаю к рассказу о них со смешанным чувством. Он сыграл большую роль в моей научно-изобретательской работе в пятидесятых годах, еще большую – в научно-теоретической работе шестидесятых. На протяжении многих лет я мог считать, что у нас близкие, дружеские, товарищеские отношения. Я очень их ценил...

Я до сих пор думаю, что Яков Борисович был искренен, когда в день моего пятидесятилетия позвонил и сказал, что любит меня. И в то же время, вспоминая теперь задним числом некоторые, очень давние, эпизоды, я вижу в них некий налет «потребительского» отношения. В семидесятых и восьмидесятых годах некоторые поступки Якова Борисовича (или их отсутствие) были уже совсем не товарищескими...».

Двойственное чувство вызывают эти рассуждения Андрея Дмитриевича. Как человек глубоко порядочный и предельно

* Запись А.Д. Сахарова, 1982 г. – *Ред.*

искренний, мужественно восставший против Системы и заслуживший своим мужеством и принципиальностью всемирное признание, Андрей Дмитриевич имеет моральное право упрекать любого, кто вел себя не столь мужественно, как он.

Справедливо также, что никакая национальность не снимает с человека моральной ответственности за его поступки. Никто не знает, сколько душевных травм и рубцов на сердце оставила дискриминация у впечатлительного, страстного, гениального человека, каким был Зельдович. «Правда, я и сам нередко не слишком умен, почему же я должен предполагать абсолютное понимание и, следовательно, сознательное притворство у других, – трогательно-искренне признается Андрей Дмитриевич. – И все же – всерьез ли говорил ЯБ, что ему нравится картина «Утро нашей родины» – Сталин с плащом, перекинутым через руку, на зелено-голубом фоне колхозных полей и строек коммунизма?».

Но почему же не всерьез? Ведь сам Андрей Дмитриевич приводит в своих «Воспоминаниях» целую исповедь о том, что переживал и чувствовал он по поводу смерти Сталина: «Я под впечатлением смерти великого человека. Думаю об его человечности...» – приводит он свои слова из письма жене и продолжает: «Очень скоро я стал вспоминать эти слова с краской на щеках... Где-то в подсознании была также внушенная пропагандой мысль, что жестокости неизбежны при больших исторических событиях («Лес рубят – щепки летят»)... В общем, получается, что я был более внушаем, чем мне это хотелось бы о себе думать.

И все же главное, как мне кажется, было не в этом. Я чувствовал себя причастным к тому же делу, которое, как мне казалось, делал также Сталин – создавал мощь страны, чтобы обеспечить для нее мир после ужасной войны.

Именно потому, что я уже многое отдал этому и многого достиг, я невольно, как всякий, вероятно, человек, создавал иллюзорный мир себе в оправдание (я, конечно, чуть-чуть утрирую, чтобы была ясней моя мысль). Очень скоро я изгнал из этого мира Сталина... Но оставалось государство,

страна, коммунистические идеалы. Мне потребовались годы, чтобы понять и почувствовать, как много в этих понятиях подмены, спекуляции, обмана, несоответствия реальности...».

С обидой вспоминает Сахаров и реакцию Зельдовича на правозащитную деятельность и присуждение Нобелевской премии Мира. Но вот последний абзац:

«Добавление 1988 года, январь.

Второго декабря восемьдесят седьмого года Яков Борисович умер от инфаркта. Мы так и не успели как следует поговорить, встретиться. Все наносное, мелочное отпало, исчезло, остались – результаты его постоянной, поистине необъятной работы. И те, кто с его помощью вошли в науку...».

О дружбе, теплоте отношений свидетельствуют строки из «Воспоминаний» Сахарова, они коротки, но обжигают душу:

«Однажды весной пятидесятого года я шел с работы очень поздно. Была лунная ночь, длинная тень колокольни падала на гостиничную площадь. Неожиданно я увидел Зельдовича. Он шел задумавшись, с каким-то просветленным лицом. Увидев меня, он сказал: “Кто бы поверил, сколько любви скрыто в этой груди...”. Потом Зельдович мне сказал, что, глядя на эти заурядные на вид куски металла (плутония или урана–235), он не может отделаться от ощущения, что в каждом грамме их “запрессованы” многие человеческие жизни – он имел в виду эзков – заключенных урановых рудников и объектов и будущие жертвы атомной войны».

«Мирные» взрывы и испытания ядерного оружия в отдаленных районах приносили громадный вред населению. Зельдович, конечно же, знал об этом, но отношение его к проблеме несколько отличалось от отношения к этой проблеме Сахарова.

Позиция Зельдовича, скажем так, была более уравновешенной. Сахаров же очень болезненно переживал возможные последствия и с мягким упреком вспоминает слова Зельдовича, сказанные перед наземным испытанием первой водородной бомбы двенадцатого августа пятьдесят третьего года:

«Ничего, все будет хорошо. Все обойдется. Наши волнения о казахчатах разрешатся благополучно, уйдут в прошлое. Все будет хорошо».

Однако беспокойство Сахарова не было напрасным: эвакуация населения из опасной зоны была произведена не полностью, повышенную дозу облучения получили многие жители казахских поселков.

Перед этим испытанием маршал Василевский, военный руководитель испытания, как пишет Сахаров, «...в более узком кругу сказал нам: “Напрасно вы так убиваетесь, мучаетесь. Каждые армейские маневры сопровождаются человеческими жертвами, погибает двадцать–тридцать человек, это считается неизбежным. Ваши испытания гораздо важнее для страны, для ее оборонной мощи” ...Но мы не могли стать на такую точку зрения».

Важно обратить внимание здесь на слово «мы». Описывая драматическую ситуацию перед испытанием, Сахаров противопоставляет две позиции: военные считали эвакуацию необязательной, ученые – необходимой. На одном из ключевых совещаний, за десять–двенадцать дней до испытания, заместитель Председателя Совета министров СССР Малышев произвел персональный опрос каждого ученого, включая Курчатова. «Малышев вызывал нас поименно; вызванный вставал и высказывал свое мнение.

Оно было единодушным», – вспоминает Сахаров. Таким образом, и Зельдович был за эвакуацию! Значит, и Зельдович переживал за судьбу «казахчат»!

В своем последнем интервью четырнадцатого декабря восьмидесят девятого года в гостинице «Москва», за несколько часов до кончины, Сахаров на вопрос казахстанского журналиста об его участии в работах по созданию ядерного оружия ответил: «...я работал с большим напряжением, считая, что задача, стоящая перед нами, очень важна для страны, для человечества, что необходимо равновесие двух великих держав и тем самым двух систем мира, что именно это послужит гарантией того, что такое оружие не будет применено.

Мы исходили из того, что эта работа – практическая война за мир... Со временем моя позиция во многом менялась, я многое переоценил, но все-таки я не раскаиваюсь в этом начальном периоде работы, в которой я принимал с моими товарищами активное участие».

За два года до смерти в статье «Социальное общечеловеческое значение фундаментальной науки» Зельдович, пожалуй, впервые с определенностью и «политической смелостью» публично определил свое отношение к оружию, которое вынужден был создавать: «...Трагическим побочным эффектом оказалось создание ядерного и термоядерного оружия».

Думается, что принципиальные позиции крупнейших ученых прошлого столетия всегда совпадали в их главной, гуманистической направленности. Все они, почти в равной степени, были детьми своего времени, которое властно диктовало свои законы. И чтобы иметь возможность делать то, к чему призывали гражданский долг и личные творческие устремления, надо было или выполнять эти законы или уходить в иные сферы деятельности, где требования к личности были не столь жесткими.

Холодные рассуждения ни к чему не приведут. «Загадка» Сахарова в том же ряду, что и «загадки» Сократа, Галилея, Эйнштейна, Швейцера, Толстого...Гений, творящий вроде бы в заоблачных высях, никогда не теряет связи с «простыми» смертными, сопричастен счастью и трагедии сопланетников. На то он и гений! Тут и загадка, и разгадка.

Гений Сахарова, его личность, идеи остаются с нами.

На века.

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Анна Фуникова

«Из безбрежной мглы веков...»

Венеция

*Сколько блеска и лазури,
Кружев каменных дворцов!
Синь—вода не слышит бури,
Только окрики гребцов.*

*Шумным чайкам в небе тесно.
Оттолкнув волну веслом,
Гондольер затянет песню
Под причудливым мостом.*

*Куполов сияет краска...
Из безбрежной мглы веков
Улыбнётся чья—то маска
Стайке тучных голубков.*

Скрипач в метро

*Качался и скрипел вагон на стыках,
По рельсам в преисподнюю спеша...
И вдруг в вагоне заиграла скрипка –
Смычок заплакал, душу вороша.
Не глядя в лица, мрачен и спокоен,
Вокруг не замечая никого,
Скрипач играл среди шума, лязга, воя
Стальных машин, не слышащих его.
Его смычок стонал от нетерпенья
И струны рвал – как письма, сгоряча!
И весь вагон среди гула и движенья
Внимал игре безумной скрипача.
Забудь и ты увечья и потери,
Играй, как он, начав с высоких нот!
Летит состав, (лишь вздрагивают двери),
По кольцевой, где – вечный поворот.
По воле мастерства и вдохновенья
Не знающего устали труда
Любовь восторжествует, без сомненья,
Среди вечного полёта в никуда!*

Париж

*Мёд солнечный стекает с крыш...
Который век томим любовью.
Вздремнул подвыпивший Париж
У сонной Сены в изголовьи.*

*Её, как стражники, мосты
Неволят в каменных объятьях.
Пусты Людовиков дворцы
И их высокие палаты.*

*Пытал судьбу Наполеон,
И баррикады ждали смерти...
Лишь тени в зеркале времён
Здесь улыбаются бессмертью.*

Евгению Аверьянову

*Так о любви писать – какое совершенство!
Отрадней ремесла на божьем свете нет:
С бессмертьем путать жизнь –
и в том искать блаженство!
Всё суета сует, и прав один Поэт.*

*Себя или других то славя, то бичуя,
Пиши, не веря или веря в благодать.
И так – весь краткий век,
всю жизнь свою большую...
Заветной доли даже Богу не отнять.*

*За музыку любви твоих стихотворений,
За пролитый тобой на бездну мира свет
Благодарю! Ведь эти озаренья –
Всё то, чего на свете просто нет.*

Музыка

*Что будет – исчезнет, что было – вернётся,
В душе только музыка встреч остаётся.
Высокие ноты, высокие темы,
Забыты слова... К сожаленью, не те мы,
Какими когда-то казались друг – другу.
Скитаемся вместе по вечному кругу,
Тела и сердца остывают от стужи...
И только мелодия прежняя кружит,
Вселяя в замерзшие души волнение!
Несхожие судьбы – и стихотворенья,
Где каждый помянет забытых любимых,
Заветных друзей – настоящих и мнимых.
Пока лейтмотивы волшебные кружат,
Ещё перетерпим вселенскую стужу,
Не станем до срока космической пылью,
И впредь не забудем, как прежде любили.*

Перо Жар–птицы

*Надежда крылом прикасалась
И вновь исчезала вдали,
А я без неё, спотыкаясь,
Брела по дорогам Земли.*

*Но вдруг опалила зарница
Собою беспомощный лес,
Любви молодая Жар–птица
Перо уронила с небес.*

*Перо заскользит по бумаге...
А ветер предутренний, свеж.
Кольшет победные флаги
Всей рати бессонных надежд!*

Река времени

*Тает закатное зарево
В бликах бегущей реки.
Надо начать себя заново,
Набело, с новой строки.*

*Жизни течение быстрое
Сносит основы основ...
Надо начать себя сызнава,
Без сожаленья, без слов.*

*С вечностью не поквитаешься,
Время не двинется вспять.
Только, когда изменяешься,
Жить начинаешь опять.*

*Только – о, что с нами станется,
Если, всему вопреки,
Кто-то собою останется
В заводи вечной реки?!*

В беззвёздном небе не найти луны...

*В беззвёздном небе не найти луны,
Как не сыскать тропинки в бездорожьи...
Пуškai мосты за мною сожжены,
Опять душа в любви неосторожна.*

*День воссияет солнечным венцом,
И станет миг всей вечности дороже,
Когда твоё заветное лицо
Узнаю среди тысячи похожих.*

В Зазеркальи

*На крутых виражах перекрёстки проносятся мимо,
Наши игры в высокие чувства – почти раритет.
В Зазеркальи компьютерных жизней кривляются мимы.
Что оглянешься, знаю, – и тени сомнения нет...*

*Околдуют меня твои чудные песни и речи,
Чтобы бабочкой вновь полетела на твой огонёк,
И сожгла свои нежные крылья при первой же встрече
В чёрном холоде сумерек, в сотне отчаянных строк.*

*Мне страшны не обманные речи – обманные встречи.
Но сверкает таинственно в небе рожок золотой,
Опускается в окна бессонные мартовский вечер,
И бессмертные чувства приходят к душе на постой.*

Дон–Кихоты

*С далёкого старта торопятся годы,
И сил молодых не вернуть... Но пока
Мы знаем, что есть среди нас Дон–Кихоты;
Их годы не старят, и смерть им легка!
И стать бесподобна, и кличи победны.
Пиная коней по опавшим бокам,
Куда, выбиваясь из силы последней,
Торопятся, опережая века?
На сломанных древках истлели знамёна,
Ржавеют доспехи, сурова судьба...
Пора бы забыть идеалы, о, донь!
Пора бы во всём разуверить себя!*

*А мне бы пора в Вашу светлую вечность,
В тот призрачный мир и на ту высоту,
Туда, где сердца поверяют на верность,
А чувства извечные – на красоту.*

* * *

*Воинственным Богам молились Вы,
О, римляне и доблестные греки!
Сражались, словно молодые львы,
И в неурочный час смыкали веки.*

*Горячими поникнув головами,
Зря ждали встреч с великими Богами...*

*Но вечностью никто не побеждён!
Амфитеатры и столпы колонн
Который век Вас помнят молодыми,
И каждое прославленное имя
Доносит эхо из былых времён...*

Владимир Алексеев

Без конца дни и ночи

Ночью он проснулся, услышал за окном шум дождя, и ему показалось, что кто-то плачет, он услышал за стеной всхлипывания, неразборчивые слова, и тогда он понял: плачет старуха.

Шел дождь, но в открытую форточку не проникала свежесть: шел настоящий летний дождь, теплый, без облегчения.

Он слышал плач старухи, и ему вспомнился маленький городишко, вокзал весь в зелени, асфальтированная платформа; он с плачущей матерью идет по платформе, а из товарных вагонов выскакивают солдаты в выгоревших гимнастерках, и над всем этим предвечернее голубое небо, теплый запах разогретых шпал, асфальта, а в привокзальном саду играет духовой оркестр, и вдруг ощущение чего-то необычного, холодного, неприятного, когда к матери подошел высокий офицер и, подняв его на руки, поцеловал холодными губами, дыхнул табаком и водкой, и поставив его на ноги, сунул в руку шоколадку в блестящей металлической обертке.

И он не раскрывая ее, боясь уронить, зажал в руке крепко-крепко, оставил плачущую мать и что-то говорившего ей офицера, подошел к зеленой деревянной ограде, и взявшись за нее руками, стал смотреть в глубь привокзального сада, где на скамейках сидели в темно-зеленых гимнастерках.

Солдаты дули в медные трубы, и трубы на что-то жаловались, сохраняя один и тот же мужественный и грустный мотив, который ему казалось, он где-то слышал.

Мимо него проходили люди, смеялись и плакали, и что-то говорили, перелетали по платформе с места на место воробы; за решеткой в городе ударил колокол, зашло за горизонт солнце, и небо стало выше, а те, что сидели в привокзальном садике, продолжали дуть в медные трубы.

Что говорила эта музыка, он не понимал. Может быть, говорила она о тех, кто погиб и никогда уже не вернется, а может, говорила о том, что была когда-то любовь, и она уже не вернется, и что надо дальше как-то жить, жить любя и жалея.

И музыка, что плыла по-весеннему утонувшему в зелени вокзалу, по путям, уходившим куда-то к реке, к городку, мимо разбомбленной водокачки, и смех и плач проходивших, и это весеннее голубое небо – все слилось в нем, и тогда и он заплакал; подошла к нему мать, взяла его за руку, и они пошли по опустевшей платформе, плача о чем-то своем разном, а может быть, и общем. Только запомнил он это небо, вокзал, товарные вагоны, себя маленького, прижимающего к груди шоколадку. Запомнил и материны слезы...

Он встал с кровати и подошел к окну. Все еще было слышно, как за стеной плачет старуха. Он стоял у окнам и ему виделось уже и другое, ему виделись оставленные после боя окопы: желтый песок, над ними трава, раскачивались на ветру одуванчики, а у пулеметов и винтовок лежали убитые солдаты.

Так, почему-то он представлял, погиб его отец. Он подумал и о матери: со смертью отца «кончилась ее жизнь» – она стала пить.

Еще он подумал и о себе, он любил себя и боялся смерти. Если начнется война, он ни за что не пойдет воевать, пускай что хотят с ним делают – ни за что. Но тут же сразу подумал: нет этим никому не поможешь, нет, уж лучше знать, что тебя убьют – идти на смерть... Бояться ее, но идти, зная, что кто-нибудь останется. Может быть, тот, кого ты любишь.

... Потом он подошел к кровати, лег и крепко, без снов, заснул.

Утром он проснулся под веселое чириканье воробьев во дворе. День был солнечный: пыль дымилась в солнечной полосе, падавшей из окна сквозь занавеси.

Он подошел к окну, потянулся, вдохнул прохладный утренний воздух, пахнувший мокрым углем из кочегарки, прислушался к звукам во дворе.

Он услышал грохот передвигаемых мусорных баков и громкие женские голоса.

Еще он услышал стремительные шаги по коридору квартиры. Звякнул телефон, раздался звук набираемого номера и грубый женский альт сказал: «Алло, Робка? Это я, Светка. Слушай, Робка, ты знаешь эту песню? Нет? Слушай, я тебе ее спою».

И вот на всю квартиру раздалось веселое пение, так что он, стоя у окна, не мог этому не улыбнуться: «Ах, ты глупая, – подумал он, – Наверное в одной ночной рубашке и в туфлях на босу ногу».

Вдруг он услышал в коридоре один звонок. – Это ко мне, – подумал он и пошел открывать. – Как некстати. – Он знал, что им придется пройти по коридору, и конечно, мимо телефона, а значит и мимо этой «молодой и любопытной» особы.

Он поздоровался с ней: поднял руку, фамильярно помахал ею. Даже, как-то слишком фамильярно, чтобы самому этого не почувствовать. «Светка» улыбнулась ему понимающей улыбкой и погрозила ему пальчиком: «знаю, мол, кто к тебе, не теряйся, мол».

В ее черных веселых глазах было любопытство и ликование. Слева открылась дверь, высунулась голова старухи обмотанная полотенцем. Он прошел, не глядя на старуху, но потом резко, со сделанным бешенством обернулся. Старуха исчезла в комнате, все же оставив маленькую щелочку в двери.

Это напомнило ему поведение речных ракушек, вытасканных из воды. Он часто собирал их в детстве. Когда к раскрытым створкам подносишь палец, они захлопываются, а потом все-таки оставляют маленькую щель. Вспомнив это, он усмехнулся.

Он шел открывать дверь и никак не мог научиться это делать, не опуская головы.

«Все это мелочи», – иногда думая он. Но в этих мелочах прошло его детство, прошла юность и поэтому он так и не научился смотреть прямо в глаза.

«Раньше я думал, что я и моя любимая будем вне этого, а сейчас я повторяю тех, кто это прошел».

И только тогда, когда захлопнулась дверь его комнаты, он почувствовал облегчение. Он подошел к ней, обнял, ощутив своей большой рукой какая маленькая у нее шея. Она улыбнулась и чмокнула его в губы лукаво и доверчиво, как ребенок.

– Здравствуй, дорогая, – сказал он шутливо. – Ну, как живешь без меня?

Они не виделись два дня.

– А ты как? – Она вдохнула прохладный воздух комнаты и рассмеялась.

– Да так, – сказал он, улыбаясь от того, что она засмеялась.

– Как так?

– Да, так, – он махнул рукой. – Все по-старому.

– Ну и я, – сказала она со вздохом. – Никаких изменений. На работе бумаги, чужие ошибки. Наш начальник ушел в отпуск, у помощницы день рождения – рубль на подарок, дома читаю, варю обед, да уж и надоело читать-то. Когда читаешь – что-то новое, а кончишь – все по-старому.

– Не огорчайся, – сказал он шутливо и грустно. – Как-нибудь проживем.

– Я и не огорчаюсь, – она с грустью заглянула ему в глаза. – Только время идет ужасно быстро. И все независимо от нас. Все не так.

– Дорогая, все это лирика, – сказал он слишком весело, ему не хотелось, чтобы она расстраивалась. – Мы любим друг друга, чего тебе еще надо?

Она подняла голову и ничего не увидела кроме старой трещины на потолке и запыленной лампочки, висевшей на проводе.

Грустно рассмеялась и покачала головой.

– Ты все такой же.

Она смотрела на него и улыбалась. Эту улыбку он знал, этой улыбкой он сам улыбался, когда смотрел на нее.

Он закрывал дверь, стараясь не издать ни звука, он успокаивал себя тем, что никто не может прийти: мать в деревне. А если придет кто-нибудь, черт с ним, дверь будет закрыта.

«А хорошо, что нет матери, – подумал он, – ведь она бы мне помешала».

В нем поднималось то отчаяние, которое ему всегда хотелось продлить, чтобы измучить себя: «Разве думал я раньше, что мать когда-нибудь мне помешает, разве думал я, что моя любимая будет со мной здесь, боясь, что ее застанут».

– Но у других бывает хуже, – подумал он усмехаясь. – Ведь все это мелочи. Ведь всего двадцать лет назад пятьдесят миллионов молили и кричали о помощи. А где они теперь – эти пятьдесят миллионов? Кто им помог? И сейчас происходит убийство не на нашем, так на других материках. И кому есть дело до его любви, когда есть дела поважнее, вроде какой-нибудь бомбы.

Он включил приемник, чтобы не было слышно, как он закрывает дверь. Он вспотел, медленно поворачивая ключ в двери.

– Дорогая, – он повернулся к ней, беспечно улыбаясь. – Дорогая, ты готова?

Ему хотелось плакать и мстить кому-то. Теперь он заглянул ей в глаза. Он увидел в них боль и любовь к нему. И тогда он склонился над ней.

– Ты моя любовь, ты моя радость, – шептал он. – Не будь тебя, я бы давно бы кончил самоубийством.

Это, может быть, было и не так, но он говорил ей это, чтобы сделать ей что-то необыкновенно приятное. Ведь кроме слов любви и этой чужой комнаты у него ничего не было.

– Бедный мой, – говорила она, одной рукой обнимая его за шею. – Любимый мой. Никто тебя не понимает, кроме меня, никто не знает, какой ты хороший.

Что он запомнил? Теплоту слез подступивших к глазам, доверчивость ее тела и силу своего большого тела, и ее слезы от нежности к нему.

И потом был еще целый воскресный день, они шли по желтому сырому песку лесной дороги, он босиком, а она в туфлях, и ее каблуки проваливались, и она смеялась, и он смеялся, и было высокое голубое небо, вздымались огромные финские сосны, и уже начинало парить, и откуда-то из дачного поселка слышалась бодрая утренняя музыка, может быть, ненужная здесь в тишине солнечного прохладного утра.

И была легкость и бездумность, и она собирала сосновые шишки, а он шел рядом и чему-то все улыбался, освещенный солнцем.

Они расстались на углу Невского и Литейного. Он пошел по Невскому, а она поехала домой на автобусе.

Он шел по Невскому, и толпа шумела, текла, не обращая на него никакого внимания. Над вечерним городом стоял шум машин, толпы, скрежет трамваев на поворотах.

Он поднял к горизонту лицо. Заходило солнце. Ему хотелось какой-то другой любви: он любил каждую проходившую мимо женщину, ему хотелось плакать от нежности и говорить никогда невысказанные им слова о юности, о любви, о дружбе.

Как у него забилося сердце, когда мимо него стайкой прошли юнцы в плащах, покачивая шляпами, небрежно вышагивая на высоких ногах в узких брюках и блестяще начищенных штиблетах!

Он улыбался, глядя на них с грустью, чувствуя свое одиночество и непричастность к ним, и все же его подмывало просто по-мальчишески подпрыгнуть и самому себе сказать: «Симпатичные парни ходят по нашей стране».

«Почему я не с ними? – подумал я, – почему надо мной с детства ощущение какого-то одиночества? Или что-то жестокое оттолкнуло меня от других. – А может быть, это так и должно быть? Может быть, где-нибудь у окна, в сумерках, стоит кто-нибудь у окна, курит и смотрит па улицу».

И вдруг он и в самом деле увидел в окне четвертого этажа на другой стороне улицы женщину, вернее, тень ее.

И ему захотелось перейти улицу, еще медленно, еще нерешительно, а потом броситься по лестнице, открыть дверь, войти к ней, встать рядом, а может быть и обнять ее, чтобы потом, когда весь город погасит огни, этот огонь горел бы всю ночь, горел долго, был маяком для других, таких же как и они, чтобы огни этого большого города горели бы всю ночь.

Но он не сделал этого. Бог знает, что подумает эта женщина и Бог знает, кого она ждет.

Он прошел мимо, и ему только вспомнилась прошлогодняя осень и другая женщина у окна, и другие картины стали проходить у него перед глазами;

На улицах валялись мокрые опавшие листья, и они не шумели под ногами, их сметали дворники и куда-то увозили. В садах кучки жгли, и тогда пахло сыростью и горьким дымом. А когда шли дожди и было особенно холодно, хотелось сухой и чистой одежды, тепла и покоя.

Он проходил по темным узким коридорам института, забирался вглубь в одну из комнат, где всегда было распахнуто окно, а за окном был мокрый заасфальтированный двор с неровными строениями, где за ними еще зеленели тополя.

Он слышал голоса проходивших по коридору студентов-вечерников, топот их ног, смех, веселый разговор у него уже не болело сердце от зависти, что он не может так смеяться, как они – так хорошо, так бездумно.

В коридорах курили студентки, прислонившись спиной к стене и отставив руку с сигаретой дальше обычного, небрежно затягивались и стряхивали частными ударами указательного пальца пепел на пол с лицами усталыми, и кажется ничего не ожидающими кроме вздоха, глотка вина и этой спасительной сигареты.

Была тут одна и та же горбуня с видом больного нахолившегося птенца, со взглядом холодным и презрительным. Она усмехнулась, когда он прошел мимо, проговорив ему в спину что-то насмешливое и злое, но он не обиделся на нее.

Он понимал: она проговорила это из чувства собственной недостаточности, ей не хватало любви, а может быть, навсегда было ей в этом чувстве отказано.

Фланировали здесь какие-то смазливые сексуальные мальчишки. Был среди них и какой-то тип с вихляющими бедрами, проходил здесь все один и тот же негр с тонкими длинными как у обезьяны руками, с доверчивыми глазами и с гордой осанкой головы, чем-то напоминающей одинокого в пустыне верблюда.

Здесь же в коридорах он встречал любовницу бывшего приятеля, говорил с ней красиво и долго, ощущая, что говорит пошлости, и от этого говоря еще более пошло, с улыбкой, которой обмениваются люди, знающие друг о друге что-то тайное, и этой улыбкой говоря об этой тайне, хотя, может быть, и тайны-то никакой и нет.

– У тебя нет сигаретки? – говорила она, деланно сузив глаза, улыбаясь полным большим ртом.

– Я знаешь ли не курю, – отвечал он с благосклонной улыбкой, ощущая себя по крайней мере, молодым и красивым графом.

– Ах, извини, я и забыла, – говорила она кокетливым голосом плохой поэтессы или актрисы, улыбаясь и явно стараясь, чтобы в глазах ее что-то было, но в глазах ее ничего не было, и чтобы он этого не заметил – она отворачивала от него лицо, глядя по коридору словно с интересом на проходивших мимо. Она была еще мила, у нее был еще хорошим цвет лица при электрическом свете, и он подумал, уж не пригласить ли ее куда-нибудь.

Ему хотелось куда-нибудь в тепло, чтобы только наедине, но ни денег, ни комнаты у него не было, да и особенного желания тоже не было, а ходить по темным сырým улицам не хотелось.

«Зачем все это? – думал он, стоя перед ней и глядя поверх ее головы, ни слова ни говоря, любезно улыбаясь.

Они расставались с каким-то, как ему казалось, обещанием друг другу в глазах, и ему хотелось, ему все-таки очень

хотелось куда-то пойти с ней в город или на окраины, сначала в темноту в дождь, а потом куда-нибудь в свет, в тепло, пить вино, говорить ей «дорогая» и все вести этот пошлый, ни к чему не обязывающий разговор.

Проходили молодые люди с ясными, еще школьными лицами, обдавали его смехом, его, стоящего где-нибудь в коридоре, в темноте, у окна, и он забывал ту, с которой только что говорил, ему уже хотелось пойти с ними, и от того, что он знал, что никогда не пойдет с ними, чуть покалывало сердце, и он, не зная чему, усмехался.

Он с грустью, но без отчаянья, как раньше, думал об этих звонких молодых голосах, раздававшихся по коридорам. Останется ли в них эта детская радость и чистота?

И как тень их, шел за ними и уходил на улицу, в темноту, в город. Он шел по набережной, и небо над Невой было черным, а около гранитных берегов светлела вода, и куда-то стремительно неслась и прибывала.

Он вспоминал преподавательницу английского языка: вдруг она вставала перед ним, маленькая усталая женщина с доброй и немного виноватой улыбкой.

Он видел ее как-то у окна спиной к свету: она смотрела в темноту, а за окном глухо звучал дождь.

Ее маленькая рука лежала на подоконнике. И он тогда, кажется, понял, что ей наверно нелегко. Он понял, что она здесь ни к чему у окна, в этом казенном доме, эта маленькая женщина без обручального кольца, и ему захотелось подойти к ней и что-то сказать, а может быть, и положить ей руку на плечо.

Ведь он же любил ее в этот момент, как и ту другую женщину, которую он всегда любил. Но он знал, что никогда не сможет положить ей руку на плечо, потому что не поймет она его, а если и поймет, ей будет больно, и она уйдет от него, даже не повернув к нему головы.

Потом он видел ее в раздевалке. Она одевалась, ей было трудно улыбаться любезно, но она все-таки улыбнулась и сказала гардеробщику:

– Даже не верится, что и этот день кончился.

Он вспоминал и ту женщину, которую любил всегда и которая жила в другом конце города.

Она виделась ему в этот момент стоящей у окна спиной к свету, она смотрела в окно, в темноту...

Он проходил под фонарями, высокий, сутулый, В плаще, и тень его сначала была впереди него, потом сзади, а потом и совсем пропадала, но опять возникала под другими фонарями, и все это повторялось снова и снова.

От порыва ветра под углом летели мокрые листья, волосы его сдувало вверх и вперед, и они опадали ему на лицо. Он поправлял волосы и все шептал себе, как он это делал в последнее время.

«Вот дождусь пенсии и куда-нибудь сбегу».

И только удивлялся наивности и глупости своей мысли, и ощущая рукой вытертый рукав пальто, чему-то усмехался и поднимал воротник. А перед ним у окна, спиной к свету все вставал образ той, которую он любил и с которой он не чувствовал временами одиночества.

А впереди за Невой, во тьме, горели огни города, и осенняя ночь была холодной и мрачной, и он знал, что завтра будет тяжело подниматься на работу, знал, что утром ничего не будет, кроме злости и раздражения, пока он «не разработается» у станка и тогда придет это спасительное «все равно».

И только иногда после работы, вечерами, он становился радостным и возвышенным, и тогда он уходил в город, и осенний город шумел проходившими машинами, темными садами и парками, и опавшие листья летали над мостовой.

... Как и всегда на следующий день он вышел на работу. В цеху было по-утреннему просторно и светло. Солнце заглядывало в окна и поэтому цех казался очень светлым.

Рядом с его прессом раздавался грохот другого, еще большего пресси, и Гогин, бледный, с кожей обтягивающей от старости и жадности череп, повернув к нему голову, весело кричал:

– Лягавый! Сука! Захомутил четвертной! Не тушуйся! Сука!

И был грохот огромного пресса, запах горячего масла, запах раскаленного металла, было дрожание заасфальтированного пола.

Но он как и обычно быстро «отключался». Он думал о том, что вот скоро лето, скоро будет его отпуск. «Скорей бы лето» – он поедет в деревню, обязательно в деревню и, глядя в окно, он видел себя идущим вдоль поля. Ах, как хорошо дышится в поле, когда ты один и когда над тобой звенит жаворонок. За полем лес, там в кустах бередняка можно нарвать свежих ландышей.

Приходил мастер, и он «включался» ненадолго, и хотя ему, может быть, было это трудно, он не мог не смотреть на мастера весело и добродушно; он с преданностью собаки ждал, что скажет мастер, хотя и знал, что мастер ничего особенного не скажет, но все то, что скажет мастер, – все будет хорошо и славно, так славно, что нельзя ему будет не улыбнуться. Они стояли друг перед другом и улыбались. От мастера тепло пахло добрым теплым животным, и ему хотелось подойти и обнюхать мастера, как это делают собаки, но он только с улыбкой смотрел на мастера и думал: «Как много здесь на заводе хороших, простых людей».

И даже Гогин ему был в этот момент чем-то симпатичен.

– Гогин, – говорил, улыбаясь, мастер и приглашая этой улыбкой послушать, что он скажет. – Гогин, небось не одну тыщенку положил в чулок.

Вот человек? Я бы пришел домой со всеми вместе в четыре часа – сегодня: понедельник, тяжелый день, сходил бы в магазин, купил бы маленькую, выпил бы, закусил бы – хорошо эдак с огурчиком, а потом бы завалился с бабой спать или телевизор посматривал бы. А он здесь до восьми часов вечера торчит.

Мастер улыбался и ждал, что скажет Гогин.

Гогин стоял ссутулившись перед мастером, в черном халате, в серой кепочке, в губах у него торчала папираса:

– Аркадий, видишь ты – это не все, не в этом дело... Видишь ты, я-то в этом месяце прогорел, ничего не заработаю: пока станок стоял, пока что... Вот в чем дело. А ты говоришь – понедельник.

И Гогин исподлобья бросил на мастере быстрый и почти незаметный взгляд.

– Эх, Гогин, Гогин, – добродушно посмеиваясь, говорил мастер. – Взгреют нас с тобой за тебя. Видимое ли дело полторы смены работать.

Тогда Гогин доставал из рабочего шкафчика красную баночку, ковырял черным ногтем блестящий леденец и залихвастки широким движением подносил ее к лицу мастера.

– Бери, Аркадий – хорошие...

И весело смеялся: «Бери, лягавый».

Этим он добивался еще большего добродушия у мастера.

Тот улыбался и качал головой, в общем-то довольный, что Гогин работает полторы смены: план на заводе прежде всего...

И был запах горячего машинного масла, и был грохот прессы, со звоном падали в железный ящик детали, а он смотрел в окно, механически нажимая на педаль прессы.

«Наверно уже земляника цветет», – думал он.

И ему вспоминалось летнее утро, пахнущее мокрой травой, лесом, прохладой, ему вспоминалась земляника на припеке.

«Как мало я уже хочу, – думал он. – Только бы припасть к солнечному пригорку, пахнущему земляникой, только бы лечь под солнце, только бы закрыть глаза».

– Ах, эта лень, – думал он и усмехался. – Так нельзя думать, это неразумно. Жизнь идет разумным путем – надо работать, зарабатывать деньги, зная, что в противном случае ты умрешь и умрешь от голода.

«Расфилософствовался», – думал он с усмешкой и вместо мастера видел перед собой электрика Василия Ивановича, Васю, как его звали на заводе.

– Здравствуйте, – говорил он улыбаясь. – Как дела?

И сразу же переходил к делу:

– Гогин, дай рубль. Выпить хочется – душа горит.

– Нету, нету, – махал рукой, отгоняя Василия Иваныча, Гогин. – Нету, нету, иди, иди. Видишь ты, не в этом дело. Ты-то в этом месяце заработаешь, ты на ставке, а я-то коку-маку. А ты говоришь – рубль... Да кто за эти деньги здесь моториться будет?

– Эх, жизнь, – вздыхал Василий Иваныч. – На войне было куда веселее...

Так повторялось изо дня в день, только вместо Василия Иваныча приходил Иван Иваныч, или еще кто-нибудь.

Так повторялось изо дня в день, и был грохот огромного пресса, запах горячего масла, и он, чтобы забыть все это, чтобы быстрее бежало время, чтобы не видеть лица Гогина, которое он иногда особенно ненавидел, с яростью нажимал ногой на педаль и тоже, как и тот, кричал безумно и зло.

«Лягавый, – кричал он, и заасфальтированный пол дрожал под ногами. – Не тушуйся! Сука».

И ему хотелось подойти и ударить Гогина, но он этого не делал, и сердце у него настойчиво ныло и ширилось, как будто хотело вырваться на свободу или лопнуть.

Иногда, когда оно особенно давало о себе знать, он прикладывал руку к левой стороне груди.

После работы он пришел домой, разделся и сразу же прошел в ванную. Проходя мимо кухни, он видел Светку и старуху. Светка делала над газом прическу, а старуха ей что-то говорила.

Три года назад у старухи умер муж. Был он маленький, грязный и вечно пьяный. Он собирал на лестнице пустые бутылки, и, сдав их в магазин, покупал водку.

Пьяный он ходил по квартире, тонко свистел, а встретив кого-нибудь, подмигивал, таинственно улыбался, подзывал пальцем и говорил, склонившись к уху: «Что, солдат, заскучал, аль плоха пища: утром чай, днем чай, вечером чайище». А потом запевал.

Пел он старческим тенорком, хитренько улыбаясь и щуря глазки, пел одно и то же: «А за меня, за ярославца, любя девочка пойдет».

Старуха его часто ругала за то, что он пьет, и за стеной было слышно, как он тихо перед ней оправдывался. Голос же старухи был слышен на всю квартиру.

Он умер так же тихо, с недопитой маленькой на столе. А когда старуха увидала его мертвого, она выбежала в коридор и закричала тем же грубым голосом, каким его всегда ругала, только в этом голосе было горе.

– Надя, – кричала она соседке, протягивая ей три рубля. – На что же я его хоронить буду? Надя, сходи хоть купи тапочки...

Он мылся в ванной и ничего не понимал, что говорила старуха, и только, когда он включил душ и смолкла вода в кране, он стал разбирать слова старухи: «А что себе, – говорила она, – это не моя пенсия. Пожил себе как следует, поел, попил, что хотел, а потом взял и во время умер. Кто этого не захочет».

Старуха рассмеялась.

Был безобразен этот смех, и он, услышав его, подумал: Это она о «нем». И главное, что меня здесь больше всего восхищает: «пожил себе хорошо, обманул и во время умер. Что за прекрасная мысль: «обманул и умер». Он усмехнулся. «И как хорошо чувствовать, что ты ни от кого не зависишь, что ты сам направляешь народы или на виселицу или к свободе. А самое-то главное, что ты властен убить, самое-то главное, в ощущении власти...»

Он мылся в ванной, и его лицо было усталым, усталым и больным. Его власть не простиралась дальше ванной и самого себя, и он мог сделать только одно: взять и повеситься. И он это знал, но дело было совсем не в его власти. Дело было в том, что он не мог забыть «того», у кого во власти была вся страна.

«С чего же надо начать, – усмехнулся он и рассмеялся. – С кого? Кого же надо убить в первую очередь? Кто мне больше всего мешает? Кто живет рядом со мной на этих десяти метрах коммунальной площади? Ну, конечно, мать. Кто же еще? – говорил он сам себе, понимая весь горький

смысл этих слов. – Это она живет рядом со мной, а если ее не будет, я буду свободен и смогу приводить безбоязненно того, кого хочу.»

«Боже мой, – думал он, – и это все, до чего дошло человечество за всю свою историю. Какая мудрость? И это гении, из-за которых погибают отцы и спиваются матери... И это вожди свободы, которые захватив власть в свои руки, с первого дня кровавого подавляют ее...

Пройдет пятьдесят лет, и все эти боли, несчастья, смерти забудут новые поколения, и на костях невинно убитых будут играть новые дети, большинству из которых не будет дела до тех, кто когда-то погиб и теперь гниет под их ногами...

И может быть, и над ними тоже найдется какой-нибудь вождь или гений, который увлечет их новой «идеей» и поведет по трупам миллионов и тысяч к так называемой свободе, к сладкому куску, обильно политому кровью, к нации, чей образ жизни самый наилучший...

Он чувствовал себя несчастным и понимал, что никогда он уже не будет счастлив, потому что он не может простить гибель тех, кто невинно погиб, чьи голоса о помощи и мести он слышал по ночам...

Здесь в ванной он подумал и о матери. Он чувствовал себя виноватым, потому что он знал, что не должен думать «так» о ней, хотя она своим несчастьем делала его несчастным.

Мать приходила с работы и незаметно для него напивалась и, опьянев, садилась на кровать и молча начинала плакать. Она плакала, но он не слышал от нее жалоб – ее плач постепенно переходил в рыдание.

Все это было в одной комнате, и ему некуда было деться и когда она плакала, он ощущал себя совсем одним, в морозную темную ночь, где-то в степях, где ковыль и волчий вой, а над ним такие холодные и такие далекие звезды и где-то рядом за оврагом, за кустами, раздается рыдание и мольба о помощи. А он на коленях, он силится подняться и не может,

– Мама, – кричит он, и не слышит своего голоса, а в груди у него мягкая и мучительная боль.

Обычно, чтобы не слышать, как она плачет, он накрывался подушкой. Но и под подушкой все было слышно, и тогда его иногда охватывало бешенство – «до каких пор это будет продолжаться», – и ему хотелось подойти к ней, схватить ее за плечи и трясти, трясти, пока не прекратятся эти слезы. Сколько можно, – а может быть, в один момент сдавить горло двумя руками, только бы не слышался этот плач, только бы он не звучал... Но он сдерживал себя и уходил на улицу.

Но однажды, в памятную для него ночь, когда он уже спускался по лестнице, ему все казалось, что кто-то смеется над ним: он видел старушечью улыбку, он слышал ее заискивающий шепот: «Что мать-то опять напилась?» – И он почувствовал, что ему не уйти просто так...

Он бегом поднялся по лестнице, открыл дверь, вошел в комнату и еле сдерживая ненависть, подбежал к кровати – на мгновение остановился, но было уже поздно, он уже протянул руку и раздражаясь еще больше от того, что он раздражен, и от того, что ему приятно выхлестнуть свою боль, он протянул руку к ее лицу, к ее губам и накрыв их и сдавив их, с силой толкнул ее на постель...

– Ну, заткнись же, заткнись же, или я тебя убью.

Она ударилась головой о стену, и он с ужасом подумал, что если бы она ударилась о что-нибудь другое и более острое, все могло бы кончиться и кончиться печально...

Она улыбнулась ему слабой и какой-то заискивающей улыбкой и сказала только одно:

– Я тебя видела сегодня во сне маленьким, я держала тебя на руках, а ты плакал...

Ему было надо уйти на улицу, но впереди была морозная ночь, и он очень устал, к тому же завтра, он знал, надо рано идти на работу.

Он устал и боялся ночи, ему болезненно хотелось тепла, как когда-то в детстве, когда мать по ночам будила его и, взяв на руки, шла через какие-то платформы и рельсы, где всегда было холодно и дуло, и где ослеплял свет проходившего мимо паровоза, оглушал грохот колес... Он лег на диван и накрылся

подушкой. Вдруг он услышал, что она смеется. И тогда он заплакал. Он плакал, а она смеялась. Она сидела па кровати и повторяла медленно и с наслаждением: «Сволочь».

И он не выдержал и вышел на улицу.

Была сырая морозная ночь. Одна из тех туманных ночей, которые были и раньше и которые будут, пока стоит этот город.

Он прошел мимо Исаакиевского собора: купол его был выхвачен светом из тумана.

Он шел по городу, подняв воротник, засунув руки в карманы, чувствуя тяжесть холодного пальто, он шел, сжимая руки в карманах, и шептал: «Я всем за это отомщу, я все равно вам за все это отомщу. «Кому вам» – он не знал и не задумывался, но от этого повторения ему стало легче.

Он долго ходил по улицам, потом нашел лестницу потемнее, поднялся на последний этаж, лег на подоконник. Он очень устал и поэтому быстро заснул. Ему снились какие-то поезда, ему снился он сам в детстве, ему снилось, что они куда-то с матерью едут и ему хочется очень есть, а есть нечего, а напротив на лавке сидит старик с накинутым на плечи пледом – старик ест курицу.

И вот он протягивает к старику свою ладонью вверх детскую руку и сжимая, и разжимая пальцы, просит: «Дай, дай, дай».

Но старик прикрывает веками свои глаза, а по щекам матери текут слезы. Он проснулся от того, что кто-то его тряс за плечо. Ему было холодно и так хотелось спать, что он, думая, что он дома и за плечо трясет его мать, с яростью вскочил и бросился на «нее» с кулаками.

Перед ним была дворничиха.

– Вставай, чего разлегся, – сказала она, не столько зло, сколько равнодушно. – Напьются, а потом валяются, где попало.

От нее пахло домом, здоровьем, щеки у нее были полные. И глядя на нее, ему как-то сразу стало легче.

Он шел ночной, но уже близкой к утру улице. Светло и чисто сиял в небе месяц. Выпавший свежий снежок хрустел у него под ногами. И все, что было дома несколько часов на-

зад, казалось ему таким далеким и таким в сущности ничего особенным, что он подумал, что в будущем должно быть все хорошо, только надо стараться как-то сдерживаться и во время уходить из дома.

Когда он пришел домой – мать спала. Он, не раздеваясь, лег на диван. Мать проснулась, когда он еще не спал.

Они долго лежали в темноте молча, он никак не мог заснуть. Вдруг он услышал голос матери.

– Прости меня, – теплые руки обняли его, и его руки тоже потянулись.

Было темно, но он знал, что она стоит перед его диваном на коленях.

– Ты знаешь, что я хочу, о чем мечтаю, – говорила она. – Летом мы обязательно поедem с тобой на пароходе по Волге. Вот надо только денег отложить побольше.

Он так и заснул под ее тихие и ласковые слова, заснул как давно не засыпал: глубоко и спокойно.

Над ним всходило ленинградское утро, морозное и синее, над ним были звезды, которых он давно не видел, живя в центре города, но он всегда знал, что они существуют, и это их существование, как и существование еще чего-то неизвестного, но высокого к чему, как и к звездам, надо стремиться, помогало ему жить.

А утром он, как и всегда, вышел на работу.

Он помылся в ванной и ему стало легче, только не проходила усталость и тяжесть в голове.

Когда он пришел из ванной в комнату, он открыл форточку и увидел, что на улице идет дождь.

«Опять дождь», – прошептал он, глядя на светлое в тучах небо, кое-где уже в солнце, в голубых разрывах.

Он одел плащ и, подняв воротник, вышел на улицу. Они договорились встретиться у Аничкова моста, у зеленых телефонных будок.

Когда они встретились, пошли в сторону площади Восстания. Дождь все еще шел.

Под зонтом на каблуках она казалась ему еще тоньше и выше. Он любовался ею тихо и устало, глядя на ее профиль, тонкий и грустный в сумерках под дождем.

Блестели лужи. Дождь был мелкий и сек вкось. Дул сильный ветер, оголял колена женщин, поднимал плащи и платья, вздымал волосы, и они неслись по ветру, трепеща и опадая.

Впереди был вечер, и его надо было провести вместе. У него было три рубля, он их сжимал в кармане. Ощущение было приятное: новая бумажка ломалась и хрустела, и казалось, обещала многое.

– У меня есть три рубля, – сказал он. – Пойдем в кафе, выпьем что-нибудь, поговорим.

Ему хотелось, чтобы она смеялась, болтала, была немного глупой. Он боялся, он не хотел видеть ее грустной.

Рядом с кафе на улице была очередь. Из открытых окон слышалась музыка, там танцевали. Из дверей вываливались молодые парни в черных костюмах и белых рубашках, разглядывали проходивших по улице женщин.

В дверь без очереди лез какой-то пьяный.

– Папа, пусти, – умолял он швейцара. – Пусти, выпить хочется.

Швейцар локтем отпихивал пьяного.

Наконец-то их пропустили. Они разделись и прошли в зал, ища свободное место. Он редко бывал в кафе за свои двадцать четыре года и поэтому чувствовал себя стеснительно. Он дотронулся до ее руки и, смущенно улыбаясь, сказал:

– Дорогая, вот видишь, как здесь хорошо.

Они сели за освободившийся столик около окна, в самом конце зала, около эстрады. Она достала маленькое зеркальце, поправила волосы, чуть подкрасила губы.

Было слышно, как по улице проходили машины. Фары освещали окна, на стеклах вспыхивали капли дождя.

В кафе печально звучала электрогитара, ей вторил саксофон, чуть слышно бил ударник.

Саксофон иногда вырывался из общего строя, брал особенно высокую и грустную ноту, которая вдруг обрывалась криком и от которой хотелось плакать, жалеть и любить кого-то.

За соседним столиком сидели двое красивых юношей в безупречно выглаженных костюмах. Рядом с ними в зеленом платье выше колен, с белым бантом в волосах, сидела девочка. Маленькие ножки в туфлях с каблучками были аккуратно поставлены на полу.

Один из парней держал руку на ее колене.

Он смотрел на них и только грустно улыбался их банальности, хотя им и завидовал немного: он-то никогда не держал руку на женском колене, да еще вот так, в кафе, как этот мальчик с деланно загадочными глазами.

«В мир приходят мальчики, которых легко обмануть, хотя бы и потому, что они ничего не знают и ни о чем не думают...»

Он взглянул на нее. Она ожила от тепла, глаза ее заблестели, стали темными, глубокими. На ней была большая широкая кофта, она утонула в ней, и ему было мило и трогательно смотреть на ее тонкие, выглядывающие из рукавов, руки.

«Ах, ты моя любимая, – подумал он и ласково улыбнулся. – Такой я тебя и запомню».

– Ты знаешь, – как бы очнувшись от задумчивости, сказала она. – Хорошо бы куда-нибудь поехать. Куда-нибудь далеко-далеко, чтобы всегда было солнце и море. Я никогда не видела настоящего моря.

Он засмеялся.

– Дорогая, вам бы все бездельничать, а кто же будет строить будущую счастливую жизнь?

– Да, – засмеялась она. – Когда это еще будет? Тогда я буду уже старухой. Если бы сейчас.

– Вот погоди, – сказал он улыбаясь. – Я разбогатею или выиграю по лотерейному билету, мы обязательно поедem к морю.

– Нет, правда, – сказала она, – правда... Я иногда думаю, как я живу. Как вспомню, что завтра на работу... все эти бумаги... А главное, может быть, не в этом, главное – это ложь: каждый делает не то, что он хочет, а то, что кому-то нужно, и все это обрамляется высокими словами о прекрасном будущем...

– Да, это верно, ложь, – подумал он. – Ложь помогает нам жить, успокаивает нас. – Он усмехнулся. – «Ложь убила моего отца, сделала мать пьяницей. И сейчас я тоже должен успокаивать ее ложью, потому что иногда выхода нет».

Музыка смолкла. Один из юношей за соседним столиком крикнул саксофонисту: «Володя, твист».

А он смотрел на нее ласково и грустно. Он хотел, чтобы она ему улыбнулась.

– Дорогая, – сказал он, с улыбкой, – все это лирика. И не надо придавать этому большое значение. Надо жить проще.

На его глазах показались слезы; он, чтобы скрыть их, отвернулся к окну. А в это время заиграли знакомый твист. Да, это был знакомый и так нравившийся ему твист, мелодию которого он часто напевал, вдумываясь в непонятную прелесть, в какое-то освобождение...

«Где же это я слышал эту мелодию, – с тоской подумал он. – Кажется, еще в детстве».

Он увидел, как быстро соскочили со своих мест юноша и девушка, как стали старательно отплясывать – юноша дрожа всем телом шел на нее, как будто хотел схватить ее за платье и рвануть на себя от шеи вниз, а девушка, раскрасневшись и похорошев, самозабвенно повторяла: «Твист, твист».

Музыка звучала, наполняя весь зал и всех сидящих в нем, и ему казалось, что в зале сейчас произойдет взрыв, и останется от всего – поваленные столы, изломанные стулья, лежащие на полу люди...

Темп музыки все убыстрялся, мелькали лица. И ему тоже хотелось броситься туда, к танцевавшим, и он бросился бы, если бы умел танцевать.

– Где же я слышал эту мелодию? – повторил он и вдруг увидел мать на станции, и вечернее небо, и отца лежащего на желтом песке, увидел и себя со стороны, – сидящим за этим столиком.

Никогда раньше ему не виделся так зримо и ясно весь мир, вся земля, никогда раньше он не чувствовал себя таким

маленьким и одиноким, не могущим сделать, чтобы этот мир хоть чуть-чуть стал лучше.

Он со злобой, от которой к глазам приливает кровь, окинул всех бывших здесь в кафе, взглянул и на ту, что сидела перед ним рядом – ей тоже не сиделось на месте, она тоже напевала эту мелодию, по-детски елозя на стуле.

«Да, это она – это и есть та музыка, – подумал он. – Она похожа на лай собак, когда ими травят человека, когда гонятся с собаками, а ты бежишь сзади, стараясь догнать этот лай; а когда собаки поймали, когда рвут и лают – ты убыстряешь свой бег – вот уже близко, близко: что за сладость охоты – лай врывается в тебя, заполняет, трясет и ты отдаешься этому лаю – радостно повизгивая, пока еще не прорезался твой голос, пока ты еще далеко, но вот рассталкивая собак, ты сам бросаешься туда к «нему», лежащему на земле, уже сам лая, уже сам крича от восторга и радости, и все надеешься, что это женщина, и тогда, сорвав с нее одежду, можно рвать или вцепиться под этот лай собак, под эту пляску в тело и рвануть на себя, захлебываясь радостью и кровью, слыша над собой и над землей этот сказочно прекрасный лай, пока совсем не сойдешь с ума от радости.

– Что же это такое? – спросил он сам себя и притронулся к левой стороне груди, к сердцу. – Почему во мне нарастает эта боль, это нытье, это несчастье?

И от чего это постоянное чувство отчаяния и непощения. И вдруг он все понял.

– Убийство, вот в чем дело, – подумал он, как и всегда в последнее время усмехаясь. – Убийство. Вот откуда во мне эти боли и болезни, это нытье. Я не могу забыть все это убийство: «а ведь обманул же, обманул же всех, пожил себе хорошо, а потом взял и во время умер», а ведь какое счастье посылать на виселицу, какое наслаждение насиловать девочек, слыша, как плачут матери.

Он взглянул на соседний столик. Девочка запыхалась, глаза ее безмятежно блестели счастьем, она не смотрела на юношу, она озиралась по сторонам, а он приблизив к ней свое лицо в упор разглядывал ее, говоря ей что-то и улыбаясь насмешливо.

– И вы тоже, – подумал он. – Вы тоже, вот так и всегда... Вот и они придут куда-нибудь и будут делать совсем не то, о чем он всегда мечтал, а что-то мерзкое и гадкое, и будет насмешливо улыбаться этот тип холодными деланно загадочными глазами и будет плакать эта девочка, а потом и засмеется.

– Так спешите же вы, что вы здесь сидите. – Он усмехнулся. – Спешите же вы, потому что надо мной и над вами – убийство, потому что и вы и я убийцы, потому что я с детства слышу, что того-то повесили, того-то сожгли, того-то зарезали, и мне уже приятно это слышать, я уже хочу подробностей, мне уже самому хочется посмотреть, как это делают, а может быть, и самому убить...

Все – наше история, искусство, политика – все переполнено убийствами; все кого-то убивают: а война, а концентрационные лагеря по обе стороны от линии фронта – все в крови... и надо всем этим тайный голос шепчет: «А ведь пожил себе хорошо, пожил – обманул и во время умер», и я ненавижу в эти минуты себя и всех, думая, что нет границы подлости человеческой, узаконенной тысячами «прекрасных» писателей, философов и поэтов, в которых, как и в «нем», слышался этот голос: «обманул и умер», и тогда встает надо мной темная ночь, страшная и морозная, и я один на планете, и надо мной зеленые и такие далекие звезды, и где-то далеко за дымящими промоинами, в снегу, в темноте, сидят у костров первобытные люди и молятся, и вот, чтобы и мне выжить, чтобы и у меня был в темноте свой костер с раздуваемыми на ветру искрами – мне тоже надо молиться и верить...

Он посмотрел на нее. Она через соломинку пускала пузыри в вино, наблюдая как они всплывают, держа одной рукой тонкую ножку фужера.

Ей было сейчас не до него, не до его «философии», щеки ее горели, лицо было по-детски радостным.

– Девочка моя, – подумал он, сжимая зубы. – Дам ли я тебе радость, если я чувствую себя больным и несчастным. И не заплачешь ли ты когда-нибудь, отвернувшись от меня

ночью на постели – и не лучше ли на всем на этом покончить, не лучше ли тебе найти сильное и здоровое с хорошими челюстями и зубами животное, – он усмехнулся безрадостно. – Ведь все наши болезни от зубов, а у меня плохие зубы еще с войны, с детства... так не лучше ли тебе найти другого, кто создаст тебе видимость счастья, ведь если ты будешь со мной, я переложу часть своей боли и на тебя, и ты мне не простишь этого.

Кафе закрывали. Он встал из-за столика первым.

– Ну что же, – сказал он. – Пора и по домам.

– Пойдем, – сказала она.

Она еще не встала, и он ждал ее стоя: он все-таки ждал какого-то изменения, хотя бы того, что кафе не закроют.

Она закинула руку назад к затылку, поправляя волосы и тогда обозначилась ее грудь и тонкая палочка ключицы.

– Дорогая, – сказал он, растерянно улыбаясь. – Я опьянел. Он все-таки ждал, что кафе не закроют, но кафе закрывали: в двери рядом с швейцаром в белом халате стоял администратор.

Он подумал о том, что ее надо посадить в автобус, даже если бы она хотела быть с ним вместе всю ночь – им не было места кроме улицы, потому что в комнате, где он был вчера утром и где жил, он больше не хотел быть с нею вместе, он устал от сознания, что их когда-нибудь может застать мать.

Они вышли, город погасил уже свои огни. Шел дождь в светлых сумерках, и лишь впереди на повороте светились огни светофоров, мелькали красные огоньки машин.

Они пошли между домами, взявшись за руки, пошли, грустные потому, что не быть им вдвоем сегодня вместе, пошли, и он не думал уже о том, что они когда-нибудь должны расстаться...

Они прошли по Старому Невскому к Александро-Невской лавре, потом свернули к Неве.

Она молчала, она чувствовала, что у него плохое настроение, и поэтому молчала.

Он смотрел на ее профиль, на ее лицо, освещенное светом летней ночи и светом далеких светофоров, и ее лицо, ему показалось, было из потускневшего от времени металла.

– Такой я тебя и запомню, – прошептал он и сжал ее руку; ему казалось, что они были тыщу лет назад на этих мокрых мостовых, такой же дождливой белой ночью и будут в будущем, повторяясь снова и снова.

Она посмотрела на него, слабо улыбнулась, приблизив свое лицо к его лицу.

– Ну что ты, – сказала она. – Что с тобой?

Она притронулась губами к его щеке и прядь волос упала ей на глаза, а налетевший ветер приподнял ее волосы над головой, и понес их под углом назад и вверх, как у бегущей.

– Ничего, – сказал он и еще крепче сжал ее руку. – Это я так...

Он поднял к небу свое несчастное лицо. Вдалеке над по-светлевшей Невой горели два огня: зеленый и красный.

Борис Крячко

Трещина

Домашние на Федосеича по соседям не наплачутся, – надоед, говорят, за год под одной крышей и никому от него спасения: что ни ночь, то он в атаку пошел, а туда с хорошими словами не ходят, все проснутся и слушают, и дети малые слушают, как он немца своего предпоследнего душит – не удушит, а разбудить, он тогда вовсе не спит. У него с войны то ли нервы не в порядке, то ли голова. Савке очень хочется поточней это выяснить, а пока известно лишь только одно: если дать ему перед сном выговориться, он уже не кричит и до утра ведет себя прилично.

Вот и ночует Федосеич с мая по сентябрь в саду; сбил там пару топчанов под навесом, накидал сена, укрыл рядом, сверху кожух и ждет Савку сумерничать вместе и слушать, а сам будет рассказывать. Его рассказы необычны и сверх всякой меры удивительны тем, что героизм в них от злодейства ничем почти не отличается, а если отличается, то лишь-лишь, и каждый воинский подвиг вследствие этого теряет нравственное величие примера как для подрастающего поколения, так и для всех вслед за ним грядущих.

– Так вот, – начинает Федосеич ровно-гладко. – Заступили мы, значит, в Германию, – и сразу вынуждает Савку насторожиться. – Смотрим, а там никого нет. – И смеется.

Он всегда хватает событие покрупней, чтобы потом вокруг него топтаться на память, а она у него, как рассыпанная мо-

заика; отдельными взброс кусками собирает он из нее что-то цельное, хотя картина чувствуется необъятно большая и Федосеич в ней центральный герой, не разовый какой-нибудь Советского Союза, невзначай-зажмурясь живой остался, а постоянный, – полный бант Солдатской у него Славы, вроде Георгий, один к одному – четыре, не считая прочих мирозавоевательных наград, и за каждым орденом или медалью непременно подвиг, которым он с Савкой для того и делится, чтоб из памяти его долой.

В Германию он заступил танковым десантом в сорок четвертом году и въехал без выстрела в городок, по всему видать, не наш, потому что магазины стояли непограбленные, улицы метеные, дома петушком, и тихо везде, не поймешь, в каком ухе звенит.

Перед тем, как наступать, Федосеича и весь личный состав строго предупредили быть начеку, так как немецкая тишина – это вражеская тишина, обман, словом, и провокация, а по факту каждый дом – Брестская крепость, шифоньеры – огневые точки, эсэсовцы засели, не чают подкараулить Федосеича, как тетерку на тяге, и все у них продукты – это ж додуматься! – ядом потравлены, упаси Бог на язык, сперва на немцах проверь, а потом уже сам, – такая стояла перед ними задача. А раз уж прибыли, значит, «За Родину!» и «Ура!» человек по семь – по восемь на каждую Брестскую крепость.

Связку гранат в дом, дверь закрыли, ждут, пока там рванет, а после уже команда: «Один на выходе, остальные за мной!» – и ну, кто во что: шкаф, сундук, рояль, – может, он, гад, в рояле залег и Федосеичу жизнь прекратить мечтает. По роялям стрелять, ну, до чего интересно! Он весь на лучинку идет – дров не надо, а сам здоровый, гудит, как сатана, только струны лопаются. Надымили, гарь глаза ест: «Хенде хох, – кричат, – Гитлер капут, справа по одному выходи!» И хоть бы собака. Туда-сюда глядь! – ни живой души, а добра... отрезы-мотрезы, ботинки-мотинки, посуда-мосуда...

Стоят все, переглядываются, vareжки поразинули, языки в задницу втянуло. Вот где сказать, все есть, так правда,

только взять нечего: все в дырях, побито-поломано, наперстка не найдешь целого. Повоевали против ветра наудалую, Федосеич и говорит: «Вы, – говорит, – хлопцы, как хотите, а ефрейтор Воскобойников стрельбу закончил, никакой это не грабеж, одна порча имущества». Автомат за спину и пошел по соседству. И наладил в родные места первую посылку. А в домах никого. И во всем городе тоже.

– Что ж выходит? – сокрушается Федосеич. – Не населенный это был пункт, а совсем даже без никакого населения. – Он поворачивает голову к Савке. – Ты, Савелий, можешь себе это понять? – спрашивает.

Савка хоть и молод, но не из тех, кому лапшу на уши можно вешать, и в необитаемые города он, ясное дело, не верит.

– Не может быть, чтоб никого в целом городе, – возражает он непоколебимо. – Поискать надо было. Как же! Небось, не хутор. Кто-нибудь да был. Испугались, попрятались...

– Ну! – отводит Федосеич взмахом руки возражения. – Была одна всего бабка ветхая годами, лет ей сто, если не с гаком, не знаю, где ее старший сержант раскопал и на что: не то напоказ, не то для проверки продуктов. Из нее даже кровь не выступила, как он ее автоматом посек, до того старая, – это население, что ли? А продукты не травленные, можно есть.

Топчан под Савкой скрипит. – И сержанту твоему старшему ничего за это не было? – допытывается он у Федосеича.

– А что ему должно? – спрашивает тот, позевывая.

Савка вскакивает. – Как что? – ерзает он по сему. – Как что? Живьем под танк и – первую скорость. Он же бандит! Ты что, не соображаешь?

– По мирному времени – да, – медленно соображает Федосеич. – А по военному – фашистку убил.

Савку аж подкинуло. – Да ты что, в своем уме? – самурайски цедит он сквозь зубы. – Тебя послушать, так на вас и управы не было, и закон не про таких, как ты, и вообще... а-а! – Он валится навзничь и дышит, как после долгой пробежки.

– Управа была, – скребет Федосеич стерню на щеке. – Как без управы? Комендатуру поставят, флаг над ней выкинут,

вот и управа. Ходи, значит, в ногу, не сбивайся, соблюдай закон военного положения, – понял? – а то в два счета под трибунал. Но это когда еще рак на горе свистнет, – комендатура! А пока ее нет, я считаюсь в бою и делаю, как мне лучше.

– Да уж столько я волоку, как тебе лучше, – задирается злопамятный Савка. – Мародерничать тебе лучше. Дома грабить. Посылки добывать. Еще что?

– А хоть и посылки, – перекидывается Федосеич со спины на бок. – Да и не грабеж это по-настоящему. Был бы я один, то конечно, а все – какой же грабеж, когда все? Совсем даже не грабеж, а нормальное военное дело. Никого не было чтоб чего-чего не взял. И везде так, – думаешь, только у нас? Война есть война.

Савка удивляется, как ловко Федосеич все это шиворот-навыворот перекрутил, а тот тем временем растолковывает ему, что в нормальном этом деле был свой порядок на три очереди. Первая очередь – серо-солдатская и боевое офицерство. Им что? Одежда-обувь, трикотаж-мрикотаж, часы-фотоаппарат, ну еще аккордеон, это уже на любителя, да и то: в одной руке два аккордеона не помещаются, в зубах не способно и автомат девать некуда, а сидор, он тоже не надувной, больше нормы не лезет. Вторая – командование, штабные офицеры с генералами. Этим – тонкая посуда, всякий там мех-ковер, бархат-велюр, ложки-вилки-ножи, какие из серебра, картины-мартини, цапки красивые – само собой, пластинки с музыкой, книжки старинные – все, как интеллигенция. Третья очередь – трофейная команда. Эти стригут под нулевку: мебель-рояль-холодильник, завод-фабрика, мотоцикл-машина, короче, – догола. Телефонную проволоку со столбов, и ту снимали. А на станции составы порожняком стоят под погрузку, – «вертушка» называлась. Все за раз не заберешь, вагонов не хватает, вот они и мотаются туда-сюда: из Германии груженные, обратно пустые. Отвезли, значит, разгрузились и по новой. Так по кругу и вертятся, с того и «вертушка». А главное, никто никому не мешает, потому как у каждого своя очередь и отдельный интерес.

– Давай, давай! – посмеивается Савка. – Так я тебе и поверил! Станет генерал руки марать об чьи-то тряпки, – брось!

– Кто тебе сказал – об тряпки? – противится Федосеич. – Об тряпки, ясно, не станет – зачем ему? Он же генерал! Наш генерал, к примеру, исключительно хрусталем интересовался и всегда при себе молоточек содержал специальный. Поставят перед ним какую-нибудь граненую лоханку, а он по ней молоточком – дин-дилинь! – и слушает: звенит или не очень. А то еще платочек достанет и по краю бокала пальцами впротир – ррраз! – и опять слушает, – как он? стоящий или подделка? Потом каждую шутовину десять раз обернет, чтоб не простудилась, и в ящик. Мы этот ящик в егошний «виллис» кряхтим (тяжеленный, зараза!), а генерал впереди нас чечетку бьет: «Осторожно, ребята, осторожно! Ровней, ровней, потихоньку, так-так-так. .. На бок не ложь! Это ценности мировых достижений, не любят, когда на боку». Вот так оно.

Минуту-другую Федосеич молчит задумчиво, а затем начинает собирать мозаичную россыпь в верхних сферах батальной панорамы.

– Пока на своем воевали, – рассуждает он свободной от сигарки рукой, – такая была нам политинформация: жили мы, вроде того, счастливой, зажиточной жизнью, а он на нас напал, стало быть, приказ: убей немца обязательно.

Потом, как погнали мы его не по нашей территории, новый приказ: освобождаем Европу, громкая нам за это слава. А на проверку? Освобождать-то освобождаем, а приказ немцев убивать не отменили. Вот и возьми, чего нету: мы их освобождаем, а они от нас драпали. Город, другой, третий, а освобожденных никого, перед союзниками неудобно. Выпустили тогда обратный приказ: Гитлер пускай уходит и не остается, а немецкий народ пускай не уходит и остается под вечной охраной наших бронетанковых частей. Стали они оставаться, но нам от этого не легче...

«Не легче» Федосеичу от обыкновенной зависти. Придя в Германию, принялись наши солдаты ругмя ругать немцев

и удивляться на перекурах – «чего они, гады, на нас полезли?» и «что им, сволочам, не хватало?», а о своей довоенной зажиточной жизни уже никто ни гу-гу. В политотделе, ясно, не дураки; кроме ушей, глаза у них, как у всех, и добра трофейного прорва ...

Придумали тогда новую политинформацию, чтобы обнадежить, – вот, мол, разобьем мы их не сейчас, так после, а отсюда все под метлу и будем жить: мы, как они, а они пусть, как мы попробуют. Генералы тоже: «Сломаем, – говорят, – врага, и наладится у нас, товарищи солдаты, не житье, а крещенское катанье, – каждый воин на собственной машине три раза в день, надо лишь поднажать немного, чтобы все это исполнилось».

Особо вышел приказ не стрелять по люстрам и по роялям, потому что это теперь наши трофеи, после войны их честно поделят и каждый получит свою долю: кто люстру, а кто и рояль, если заслужил, конечно. Федосеич – мужик хозяйственный себе во вред делать; для чего ему по роялю, например, стрелять, если рояль этот к нему же после войны вернется. И перестали рушить имущество.

– Эх! – исходит Федосеич завистью. – Живут немцы, нам бы так. У нас каково? Где едят, там и детей плодят. А у них каждому изволь отдельную спальню, да еще столовка или там горенка с роялем, и на случай гостей – тоже пожалуйста. А то ночевал бы я тут, кабы отдельная комната. Что ты! У них даже для книжек помещение...

– А посылки? – напоминает ему Савка.

– Посылки посылками, – говорит Федосеич. – Это отдельно, ты их сюда не путай.

– Сам же говоришь, – оставаться народ стал. Как же при людях? Неприлично, вроде, – убеждает Савка Федосеича.

Злость в нем перегорела, но желание поддеть не прошло. Спустив ноги с топчана, Савка сидит, глядя в сторону освободителя, и сторожит каждый шаг его походов по Европе.

– Пускай остаются, – милостиво разрешает Федосеич. – Мне, главное, что? Ты мне мое отдай, и я тебя знать не знаю.

Видный мужик Федосеич, прочный весь, подобранный, поглядеть дорого, как у него шея прямо из плечей растет, точно дуб из земли корневищами. И силой Бог не обидел: бычка года на полтора за рога возьмет, ногами крепче упрется, голову ему вывернет и на землю уложит. Савке, бывает, страсть нравится на Федосеича глядеть, и он думает: вот бы нарисовать кого! Правда, художник из Савки больше умственный, – по кучевым облакам взглядом тешиться да по морозному окну лето воображать, а все ж таки приятно ему поразмыслить, каким бы он Федосеича намалевал. Ну, как он при мирной жизни с бычком возится, про это не нужно, – другие картины есть, военные, вроде той, где Федосеич сидит где-то под Ельцом в сорок первом году на убитом немце и ест макароны по-флотски. Фашистов чуток попятнили, позицию сменили, закрепиться не было когда, а тут кухня приехала, обед, значит.

Щи не довезли, расплескало прямым попаданием, а на второе были эти самые макароны, которые по-флотски. Сесть не на что, снег кругом, холодно. Смотрит Федосеич, – фриц лежит мертвый, он на него и присел. Сам торопится, чтоб не остыло, сам краем глаза на своего мертвеца поглядывает, а у того лицо совсем от мороза белое, глаза открыты, рот тоже, а во рту мерзлый конский кизяк и зубы до самых десен кто-то прикладом обстучал. И думает втихую про себя Федосеич, что фриц этот, могло быть, голодной смертью замерз, тяжело раненный.

От нечаянной этой догадки приходит Федосеичу на ум сказка страшная, – еще при царе бабка ему, малыцу, сказывала: «И пришли к нему три погибели разом: одна от голода, друга от холода, третья от каленой стрелы. И помер враг в чужом краю лютой смертью, и земля его не приняла, и никто не поплакал».

Смекает тогда Федосеич, что это мудрая бабкина сказка на глазах у него происходит, – от этого схватывает его дробная, мелкая трясучка и противно знобит за пазухой. А народу кругом топчется, шуточки, смефучки: «Эх, мама род-

ная, сесть бы где, подвинься, дядя, на полприбора!» – «Со с мясом тебя, Федосеич, ха-ха, с дохлятинкой!» «Ну и кореш, Вань, под тобой няятский, – что жрать не просит, что при нужде не бросит». И политрук туда же: «Неплохо устроился, Воскобойников, молодец, везде дома». А он не дома. Совсем даже не дома. И никакой не молодец, потому что на холостого горлохвата Ваську Теркина ничем не шибается.

Мысли его одолевают, настроение – морду бы кому набить, аппетит весь немец мерзлый себе забрал и нутро тоскует. Порченный он потому что. Не сказать вовсе, а мало-мало есть. С трещиной у него душа. Маленькая такая трещинка и неровная, как зазор. Он ее, понятно, скрывает, а она, так ли, этак ли, а все равно дает себя знать и не всегда ко времени. От трещины той одна есть у него слабинка: не переносит он со стороны никакой к себе жалости, и тот, кто его пожалел, пусть на себя пеняет. Савке это известно, и он тут же подбивает его на ссору, потому что наглая федосеичева снисходительность к обобраным немцам окончательно выводит Савку из терпения.

– Вот где стыдуха, чай-поди, а? Федосеич? – притворно соболезнует он. – Я тебе сочувствую. Не свое, как-никак. Ну, безлюдно крал, никто не видел, Бог судья, а при свидетелях, – это ж сколько переживаний, не каждый выдержит. И все на тебя, небось, как на холерное говно: «Вот, – думают, – крохобор, кусочник, откуда он взялся, не сеял, не пахал...»

– Это я, что ли, не пахал? – вскипает Федосеич, тоже садясь, и его красивая шея, наверное, впотьмах багровеет. Он возмущен, страшно рассержен и на каждое почти слово у него вдвойне приходится тех же непристойностей, из-за которых он до желтой осени в саду живет.

– Я-то не сеял? – горячится он от возведенных на него Савкой поклепов. – Думаешь, ефрейтор Воскобойников всю войну сенца подмостивши... А с артподготовкой не хотел? А по грязюке до колен наобгонки, – это тебе не пахал? А от дома к дому, кубарем-пригнувшись, да из подвала на крышу, – это как? сеял или не сеял? А с немцами в жмурки бегом марш, –

кто кого первый увидел, тому повезло, а кто зевнул, того теперь нет, – понял? Да знал бы ты, я в одной Германии три раза переформировывался. Выкосят половину, кого в землю, кого в госпиталь, кого куда, – новых добавят. Опять выкосят – опять добавят. Нас таких знаешь сколько осталось, постоянных? – раз-два и обчелся. А ты говоришь! Не ровная дорожка четыре года лоб в лоб бодаться. А что я тряпок там набрал ихних своим послать, так то еще мало. У меня четыре ранения за ордера, их отоваривать костюмов не хватит.

Он до того расходился, что Савка без труда представляет его в бою и не узнает, потому что Федосеич уже не Федосеич, а какая-то хищная образина с глазами, как у василиска: на кого посмотрит, тому смерть, и оттого своих он не видит, лишь врагов замечает, как немца, у которого с шеи крест содрал. Шикарный крест, рыцарский, таких солдатам не выдавали: белая эмаль, торжественный окаем и два меча тевтонских на звезду тянут восьмиугольную. Увидел Федосеич этого рыцаря, подошел, нагнулся, возможно даже подумал: – «Ну, поносил – дай другим», – и рванул на себя... А все ж таки, как он ни разобижен, а Савку не прогонит, – некому тогда слушать. Что до Савки, то он, своего добившись, и сам не прочь на мировую.

– Так Федосеич, – заводит он просьбой-лаской, – разве ж я против? Я ж, вроде, ничего такого особенного... Вроде, ну... поздравить хотел... ну, с этой, чтоб тебя... с победой, вроде бы... да-а, а больше ничего такого... И ты, конечно, отчасти прав на сто процентов, – что я, не понимаю?

Если Савка понимает, то Федосеич тоже не без понятия. Отходит он быстро, как после траншейной схватки, лишь обида чуть-чуть еще в горле булькает.

– Стыду-у-ха! – перекашивает он Савку на-голос. – Много знаешь, у тебя забыл спросить. Совсем даже никакого стыда. Что я, – разувал, раздевал, из зубов вынал? «А ну, – команду им, – вэк отсюда до одного! А ты, – говорю, – фрау, шнель-шнель! Барахле, шмотка, шухер-мухер, ферштен? Киндер, – говорю, – киндер».

Она с перепугу раздеваться. «Найн, – кричу, – дурья твоя башка, никс ферштен! Не за тем пришел! Киндер, говорят тебе! Там!» Себя в грудь кулаком, четыре пальца показываю, от пола рост отмерил, – такие вот, даю знать, они у меня, – и рукой, значит, откуда сам заявился. Никакого насилия. Доброй волей нанесут сверх даже нормы. «Данке», – говорю. Чего мне стесняться? Это разбойнику Бог слова на миру не дал, а я... да мне хоть по радио, я тебе не то, что на Германию, – на весь белый свет оглашу, что как победитель не могу того допустить, чтоб ихние киндеры сытые, в справной обуви, а мои, босота, сопляют, не наедаючись, – где ж справедливость?

– Слушай, – говорит Савка Федосеичу без потачки на героизм или на возраст. – Хочешь, обижайся или как, тебе видней, только ничего этого нигде нету, что ты мне тут загибаешь: ни в книжках, ни в газетах, ни в кино... Нету и все, – понял? Получается, вроде как бы один ты взрослый, а остальные все – так себе, дети в школу собирайтесь, петушок пропел давно...

– Ты смотри, чего захотел! – торжествует Федосеич, ничуть не обидевшись. – Чтоб ему все, как есть, засветили! Да ты что, первый раз замужем? У людей подписки берут на неразглашение правды, а он из нее валенки валять ... Какой недоделанный тебе ее... За это, знаешь, – секир-башка и табачку не дадут. Никто ее не напишет, правды целой, жуткая потому что и немилостная. Как приказ под Корсунь-Шевченком: в плен не брать, раненых достреливать. Думаешь, не достреливали? Ого! Еще как достреливали, – кто кого больше. А ну, поставь про это картину, а я погляжу, какая тебе через нее премия выйдет.

Отвергнув литературу и искусство как лжесвидетелей по умолчанию, Федосеич победно закуривает, мало заботясь, что Савку корчит на рвоту. Он совсем еще молодой, Савка, к тому же книжек разных начитался, а в них чего не понапишут! – раз поверь, два раза оглянись, а то поздно будет.

Не так давно заспорили они с Федосеичем чуть не до драки. Савка доказывает, что есть, мол, у нас такой закон, –

дважды не расстреливать, а в случае кто после расстрела целый остался, того отпускают на все четыре стороны, даже лечат, ежели задело малость. А Федосеич говорит, что такой закон, может, и был когда, при царе Горохе, а сейчас по другому: берет командир отделения пистолет и каждому расстрелянному разбивает пулей затылок, чтоб с гарантией, значит, и лечить некого.

Видит Савка, крыть нечем, и расплакался, потому что обидно ему стало за людей, которые на деле совсем, оказывается, не такие, как в книжках. Вот и теперь мутит его от всяких подлостей, которым Федосеич живой свидетель.

– Мясокомбинат, – сплевывает Савка полный рот слюны. – Скотобойня... Говядина, свинина, человечина, суки паскудные ... Неужели же у вас там простого благородства не было?

После взаимных ожесточенных перепалок от первоначальной композиции «Скажи-ка, дядя» не остается следа, потому что слушатель давным-давно вступил с рассказчиком в такие же штыковые отношения, как французы с русскими на Бородинском поле.

– Чего, чего? – переспрашивает Федосеич как глухой и заходится тихим, невыносимым для Савки смехом в кулак. – Это что ж? – он меня по сопатке, а я ему «спасибо»? Не-эт, этого не было. Все было, а про такое не слышал. Он к нам зачем полез? наших людей губить благородно? А то мало нас...

Федосеич споткнулся вдруг на полуслове и закашлялся. Он, когда смутится, то кашляет, будто жаль ему, что лишку обмолвился. Разговор тогда уходит, как телега в трясины, оба чувствуют неловкость, словно кто-то из них испортил воздух и не хочет признаться.

– А не каждый день города без боя брали, – единым рывком вытаскивает Федосеич телегу из вязкой грязи. – И посылку послать тоже не каждому доводилось.

Быстро, как по тревоге, без раздумий и подготовки, собирает Федосеич новый кусок мозаики, – как первая очередь наших ребят за посылками уличным боем в чужой городок

вкатывается. Под орудийный перестук, под хлопки мин и гранат, под пулеметную обработку и автоматное крошево, — кто кого — раньше заметит. Там стекло звонкое осыпется, там стена глухо рухнет, щебенкой прошумит, где-где крик пробьется, а кто кричал — не спрашивай: гул кругом — уши заткни.

— Обожди, слышь, Федосеич, — прерывает Савка наступательные действия наших войск. — А уличный бой, это, примерно, как что? На чего похож? Ну, шум, это я понимаю, а как? Ты ж там был, обязан знать.

Некоторое время Федосеич думает, затем говорит:

— Примерно, как прошлый год саранчу гнали.

Савка помнит: идет вверх над станицей быстро черная туча не по-за ветром, и тень от нее по земле движется тоже быстро, а в тени, словно от солнца прячась, бегут люди, шумят, стреляют, вопят, бьют в пустые ведра, — такого тарараму Савка сроду не слышал, — а с неба все звуки покрыл сухой, жестяной шелест, от которого не по себе становится. Опустилась туча за станицей в лесопосадку, и через полчаса деревья стали выглядеть, как зимой, а земля страшно вся почернела. Двое суток целый район не спал, саранчу жгли вместе с молодым лесом, и до самой весны никто туда не ходил, боялись.

— Примерно так, — говорит Федосеич, — но, конечно, раз в двадцать слышней будет.

Для Савки «раз в двадцать» обозначает, что уже не яблоки спелые гулко с веток срываются, а бомбы невдалеке падают, и не цикады стрекохут, а пулеметы бьют, и не звезда скатилась, а ракета упала, а сам он — там, в незнакомом немецком городке за Федосеичем наблюдает. И куда ни кинь, все не свое, чужое, век не видать и не состаришься. Дома один к одному жмутся тесно, солдаты в защитном по-за углами с дороги сбились, а дорога — вот она: танк на обочине горит, недосуг чей; федосеичев лейтенант, азейбарджанец молоденький прямо посреди убитый лежит, руки раскинул, а медной головой вперед по приказу командования, и еще кто-то с ним, тоже, считай, смертью храбрых.

По такой дороге всю жизнь без ремонта ездить; снарядом по ней шваркнуло бронебойным, как ложкой каши почерпнуло, колдобинка, корыто непроливанное свиньям помои жрать, еле в нем одному схорониться, а их двое: лично Федосеич, солдат Славы, и Венька Орехов, бедовая голова, лежат впритирку и дорогу нюхают, из чего она, такая непроезжая, сделана. И хоть бы брустверок какой, а то ж задницу девать некуда и затылка не поднять, домик с фасоном мешает: у немцев там на этаже люис колченогий и чешут они из него вдоль по Питерской и дальше. «Ты! Побудь! – кричит Венька Федосеичу в шею. – А я! Схожу! Очки им! Поколю!» На асфальт выкинулся и покатою с боку на бок, чисто бревно с горы пошел, а они из кривопятки своей кур кормить ему за следом: цып-цып-цып-цып-цып, – закройся, в общем, сейчас напололам перехватят. А ничего; докатил он до «мертвяка», схватился, побежал, уже его не достанешь, так они прицельно ка-ак вжарят по федосеичевой лунке...

Вник Федосеич рылом в бетон и было ему себя жальчей всех; лежал он смиренно и молился чудной молитвой: «Господи, сохрани! Господи, не зацепи! Господи, бери повыше!», – будто не немцы это стреляют, а сам Господь Бог, в которого все верят, как времячко поприжмет. Сколько там оно прошло времени, неизвестно, только слышит – противотанковая стреловата в фасонном домике, и стрельба по его заявке разом кончилась.

Поднял он морду окарябанную, смотрит, – Венька Орехов ему рукой с балкона: «Вставай, мол, залежался! – а под балконом трое зеленых ногами врозь. «Держи, – говорит, – на память про веник ореховый, как вместе грелись у Гитлера на курорте», – и дает Федосеичу золотые часы с немца, а на них и день, и ночь, и месяц, и погода, и что твоей душе, – полный метраж нашего времени. Часы эти после боя полковник себе забрал. «На что, – говорит, – они тебе, ефрейтору, тонкая вещь, деликатная культура, что ты понимаешь? с тебя и штамповки хватит, еще загубишь ни за понюх, – жалко! – лазишь, где попало».

– «Так точно, – говорит Федосеич, – загублю, товарищ полковник». И отдал. И полковник его за то к ордену. И стал у него полный бант.

– А Веника? – интересуется Савка.

– От жилетки рукава Венику, – говорит Федосеич и не сколько раз подряд затягивается сигаркой. Потом, хозяйственно заплевав окурок, поясняет: – Убили мы его.

Потрясающую эту новость Савка воспринял попервах очень спокойно. – Так я и знал, – жмет он плечами. – Вас же там целая банда, разве сладишь? – Дальше он не выдерживает и, хлюпнув носом, срывается: – Он вам скольким жизнь поберег, а вы... Ну, спасители мира... – И ничего больше сказать не может от удущья.

– Оно так, – скорбно соглашается Федосеич. – Парень куда там! Что смелый, что надежный, с себя последнее отдаст. ... Злость его подвела. Злой был докрасна, хоть прикуривай, с того и ума решился. Ну, пока в Белоруссии, там его злость была при деле, а на чужбину пришли, вроде как даже понапрасну стала. Что значит не в своем дому! Встречаем один раз мы пять пленных с конвоем. Так что ты думаешь? Он их всех на землю положил и пострелял на наших глазах. Конвой совсем был еще пацан, двадцать шестой год-призыв, растерялся, плачет, как малолетка, не знает, куда ему теперь идти, как докладывать. Нам это уже тогда не всем понравилось.

Савку тоже трудно порой узнать, – слишком он быстро меняется; только что готов был оплакивать Веника чуть ли не навзрыд, а не прошло минуты и уже ему невтерпёж того же Веника собственными руками... и раз, и два, и три... и за каждую поруганную жизнь... и за всякую напрасную смерть... – Ну ты глянь на него! – яростно кричит Савка и лупит себя кулаком по колену. – Не понравилось им! А чего ж едальники пораскрывали, раз не понравилось? Заступить-ся не было кому, да? Трудно было. Недостало вас десятка с одним управиться.

Федосеич – курильщик заядлый, одну сигарку за другой курит почти без перерыва. Он и теперь медленно скручива-

ет новую, слюнявит бумагу, тарахтит спичками, прикуривает и от пламени видно, какое у него невеселое лицо. – Дурак ты, – спокойно говорит он Савке, задувая спичку. – Думай, за кого заступаешься. Люди гибнут тысячами, война, а он... Жалельщик нашелся! В «особняк» захотел? Для таких жалельщиков туда и дорога.

– В какой особняк? – не понимает Савка.

– В такой, – мрачно отзывается Федосеич. – Особый отдел при штабе километров за тридцать от передовой в тыл. Там снаряды хоть и не рвутся, а кто туда попадал, обратно уже не вертался. В отделе в этом офицеры исключительно политические и отделение автоматчиков при них: с ряшки все гладкие, двойной паек, одежда-обува – высший сорт, каждую ночь с девками спят из медсанбата и, кроме как расстрелять кого, другого дела нет.

Савка ежится то ли по холодку полуночи, то ли от неприятного чувства. – Ну, ладно, – говорит он, преодолев смущение и возвращаясь к главному разговору. – А за что вы его кокнули, Веника? – спрашивает.

– Получилось, – отвечает Федосеич с жестом полной безнадежности и смотрит в темноту сада. Он слишком долго молчит, и в его молчании, помимо передержки, чувствуется еще что-то личное и тягостное. – Нельзя было с ним по-другому, – вздыхает он, точно оправдывается. – Прямо никак, хоть ты ему кол на голове теши... Мы в Германию как пришли, стал он девок тамошних зашаривать. Ну, по молодому делу да на войне все мы не святым духом питались. А он, значит, что? Девку использует и по мягкому ей из трофейного парабела с причетом: за свата, за брата, за дядю Игната, за двух Матрен, за Кузьму с Петром...

Мы сперва думали, – долги платит: кровь за кровь, не забудем, не простим, папа, убей немца, в общем, такое. Смотрим, а у него счет вовсе пошел небрежный и глаза блестят без симпатии, как с лихорадки. «Главное, – говорит, – женский пол перевести, от них вся беда, а мужики сами загнуты». Это раз, другой... «Да ты что, – говорим ему, – совсем опупел,

парень? Чего взъелся? Изнасиловал и отпусти. И вообще, кончай, Венямин, свои чудеса, остановись на полдороги». – «Остановлюсь, – говорит, – после войны в варварин день, а раньше того меня ни Бог, ни царь, ни герой, не то, что вы, постники, в пеленках сиську по средам не брали». – «Добро, – говорим, – весь разговор, не тебе обижаться».

Недели не прошло – отписал его комбат за свободу и независимость, все, как положено. Своего убить в бою просто, – он же от тебя не хоронится. – Принужденно покашляв, добавляет для пущего спокойствия: – Мы даже не дознавались, кто.

Тут бы Савке в самый раз проехаться по Федосеичу в отместку, сказать: «Слушай, а это не ты ли, часом, Веника очередью промежду лопаток, а?» – но его захватывает совсем другая мысль, – внезапная, сильная и нестерпимая. – Ага! – неприлично радуется он, хватаясь за убийство в спину, как грешник за луковицу. – Пожалели-таки! Пожале-э-эли! Жалко стало! А трепался, – благородства нет...

– Пожалели, – ворчит Федосеич. – Небось, пожалеешь. Собаку бьешь бешеную, и ту жаль, а тут люди все-таки...

А что с ним делать? Не комиссару ж на него жаловаться. Ну, передам я, – так, мол, и так, – а он дальше передаст: «Ефрейтор Воскобойников симпатизирует». И все. У ребят из особого разговор короткий: измена родины. Запрещалось нам, понял? Нельзя. А ежели пожалел кого, так уноси побыстрее ноги, чтоб не застукали, это тебе не посылку собрать.

Он, лежа, перебирает в памяти фронтовиков-однопольчан, поплатившихся жизнью за доброту, – кто под Вязьмой, кто под Курском, кто в Восточной Пруссии, – но Савка слушает невнимательно и спохватывается лишь под конец, когда Федосеича в сон клонит.

– ... демобилизация стариков первая очередь, да-а! – тянет он сиплым, уставшим голосом. – Нашел я рейку чугунную потяжелее, взял автомат за ствол: «Ну, – думаю, – дорогуша, чтоб тебя тыщу лет никто в руки не брал», – да кэ-эк наверну...

Савка, зажмурившись, не воображает, а собственными глазами видит, как в щепки разлетелось автоматное ложе, распалась казенная часть и покатился по земле диск, – уж больно хорошо собрал Федосеич этот кусок себе на сон грядущий.

«... Никак осколком друга зацепило?» – старшина спрашивает на автомат глазами. «Маленько есть», – говорю. «Надо же! – удивляется. – Вот уж сказать, и начинал густо, и кончил невпроворот. В рубашке, – говорит, – что не по мясу, семью мог крепко обидеть. Ну, везучий ты, паря. Везет счастливым!» – «Да уж, – говорю, – на тебе мое счастье с другом впридачу, а рубашку как-нибудь в следующий раз». – «Давай, – говорит. – Друг теперь твой разве в переплав, а все равно... Ишь, угораздило!..»

Язык у Федосеича заплетается; он начинает сбиваться с речи и ритмично сопеть в паузах. Правда, он еще кой-как борется, но уже ясно, что не одолеть Федосеичу сна, вот-вот он его сморит.

– Города пустые, – говорит он тише и тише. – Никто не живет... Окна не светятся... Куда подевались?... Идешь, как по лесу... Ты ночью, Савелий, не ходи... Пустые они совсем... Никого нету... Никого... Одни мы...

Засыпает Федосеич крепко и беспробудно. Дыхание у него выравнивается, только на вдохе чуть-чуть храп, да на выдохе он слегка постанывает, но это пустяки. Главное, что он уже не вскинется в атаку, не возопит во всю глотку и никого спросонья не напугает. Кавалер ордена Славы всех мыслимых степеней, ефрейтор в отставке Иван Федосеевич Воскобойников на сегодня стрельбу закончил.

Александр Зорин

«Грёзы земли...»

У окна

*Скорей, скорее... Времени уж нет.
Уже вздымает облаков обвалы,
Меняющийся на глазах рассвет –
Тёмно-зелёный, рдяный, чёрно-алый.*

*Скорей, скорей! Не завтра, а сейчас...
Уж пред тобой явился напоказ
Из края в край мятущийся широко,
Обещанный, тот самый, свет с Востока.*

*Он окропил партийную скрижаль
Вновь строящегося собора.
Куда отрадней взглядываться в даль,
В приметы запредельного простора.*

*Желанного и сердцу и уму.
От очевидного не жди пощады.
Глаза устали погружаться в тьму
Отечества, в свинцовые преграды.*

*Распахнутое небо... И страна,
Разбухшая на мифах и поверьях,
Разъята на подрамнике окна.
Её такую Левитан и Рерих*

*Не представляли... Да и ты, навряд.
Хоть тыщу лет она тебе знакома.
Встаёт рассвет, похожий на закат,
Во весь размах родного окоёма.*

* * *

*У Ивана и Марии – моих
Родителей молодых
Жизнь не складывалась сначала.
Как цепями по спинам стучала!
Ох, и молотило же их –
Разбрасывало, разлучало
На годы – войны, тюрьма...
Разлука, что смерть сама.*

*В объятьях чужих застревал
Отец, будто пестик в ступке.
До зёрнышка бы себя растерял
В молотилке в той, в мясорубке,
Когда бы его не ждала
Домой – отовсюду – жена
Единственная, моя мама.
Дочь Авраама.*

*Драгоценные годы прошли
Друг от друга вдали.*

*И, одолевшие ад,
Выжившие наугад
Под коммунальным покровом,*

*Рядышком теперь лежат,
Бок о бок, на Востряковом.*

* * *

*Синь апрельская иней со стёкол
Слижет к полдню, капелью звеня.
И слепящим блуждающим оком
Поманив, осчастливит меня.*

*Вроде бы холода отступили,
А стращают ещё по утрам.
По-над лесом строгают стропила
Солнцеликий работник Ярила,
Ладит летний сверкающий храм*

*Для гостей перелётных и зверя,
Обитателя здешних болот.
Я к нему не прошусь в подмастерье.
Я сбежал от сезонных работ.*

*Я хотел бы и зиму и лето, –
О, чудное призванье моё! –
Каждодневно в тиши кабинета
Приниматься, по слову поэта,
«за старинное дело своё»...*

*Кабинет или угол в сарае –
Всё одно. Опасения те ж...
По крупице себя собирая...
Трудоголик переднего края,
Лет преклонных и юных надежд.
Я не зяблик, не певчая птица.
Хоть готовлюсь в далёкий полёт.
Но и там я надеюсь трудиться,
Там, где солнце уже не встаёт.*

* * *

*Свет вырубился, и в округе
Темно. На ветхие лачуги
Швыряет шторм за шквалом шквал.
Наверно, где-то столб упал.*

*Зажёг фонарик... Еле-еле
Мигает... Батарейки сели.
А свечек нет. Сиди впотьмах.
Я не подумал о свечах,*

*Когда собирался торопливо
Сюда... Нашлась одна... О, диво!
Колеблясь чуть, из давних лет
Явился тихий мягкий свет –*

*Свидетель вековой стужи.
Замру на время. Вой снаружи.
И теплящая тишина
В душе, что тьмой окружена.*

Горе народу без слова Божьего.
Марцинковский

* * *

*Споспешествует Истина идеям.
Одним демократическим затеям
Не удержать благого устремленья.
Народ без Слова Божьего – потерян.
И обречён на самоистребление.*

*Народ без Слова Божьего – пучина,
Выталкивающая на поверхность сонмы бестий.
Лишь в этом вековая причина, –
Твержу, – российских окаяньств и бедствий.*

*И в каждом жлобстве, шельмовстве, убийстве
Слепорождённых выпучены недра.
Народ без Слова Божьего, как листья,
Мятущиеся от ветра.*

*Твержу и повторяюсь без смущенья,
Что ревностью кому-нибудь наскучу.
Народ без Слова Божьего – камень,
Остатки рода, собранные в кучу.*

*А важным господам, уж, если метят
В поводьри на нашем бездорожье,
Ох и зачтётся... Что они ответят
Тому, Кто поручил им Слово Божье?..*

* * *

«Поэзии священный бред...»

А. Пушкин

*Ирония, как будто налегке
Разящая, есть в пушкинской строке.
И к нынешним она восходит перлам.
Взять авангард: ребята-молодцы!
Жуя абракадабру, бьют по нервам.
А мне и Заболоцкого «Столбцы»,
Мной чтимого, не кажутся шедевром,
Всего лишь опытом... Не обольщусь
Талантливый шаманством: место пусто.
Священный бред поэзии мне чужд,
Как всякий бред, пусть преисполнен чувств.
Хотя священно для меня искусство.*

* * *

*Уединенье – Божий дар!
Причин счастливое стечение.
Ради такого заточенья
Готов терпеть печной угар,
Свет в полнакала, шебаршеньё
Мышей, капусту на обед...
К тому же, говорит сосед,
Она полезна при склерозе.
И гололёд, и туалет
Дощатый на лихом морозе.
Пенсионер я или нет –
Скудельное изделие Госта –
Могу хотя б на склоне лет
Жить независимо и просто?..*

*Всевышнему благодаренье –
За кров, за пищу, за терпенье...
И за возможность перед сном
Пройтись по снегу босиком.*

*За то, что не имея ренты,
Могу и я богатым стать.
И мамин голос услышать –
Живой... с магнитофонной ленты.*

* * *

*Ни дымка в посёлке. Лишь
Пышет шифер, просыхая.
Снег шушит, сползая с крыши.
Ухает в сугроб, вздыхая.*

*Мартовские жернова
Пошевеливаются едва.
Подождали, порыжели.
И пошли месить массив
Ноздреватый – запустив
Длинноклювые капли,
Молотки, долота, дрели.*

*Своевольничать горазд
Март – устраивать проделки.
Всюду выпучил гляделки.
Точит капля волглый наст
С быстротой секундной стрелки.*

* * *

*Черёмуха, орешник жалкий –
Зажатые, дрожат в плену
Разбухшей загородной свалки,
Оврага вдоль – во всю длину.*

*Но что это: игра? Бравада?
Нездешнего восторга взлёт?..
Над жалким скопищем распада
Бесстрашный соловей поёт.*

*Куда ты залетел, голубчик?..
Сплошное царствие страшил...
Чок-чок – сверкает звёздный лучик
В ветвях редяющих вершин.*

*Ад отделяющий от рая...
Чок-чок... О, чудо в две строки...
На бранный ужас не взирая.
А может быть, и вопреки.*

* * *

*Вот Лебедь, Андромеда, Орион,
Вот Волопас... Все в сборе. Все на месте.
В ночное небо я давно влюблён.
А всё ищу хоть малое созвездье,*

*Которого не знаю... Страж ночной
Уснувших улиц и полей окрестных,
Как будто дом отыскиваю свой...
Как будто там он, в запредельных безднах...*

Благовещенье

*Блаженство. Теплынь. Благовещенье.
Земля полуобнажена.
К себе, как познавшая женщина,
Прислушивается она.*

*Чуть где ручейчек завозится,
Уж к небу возносится звон.
Известно: земля Богоносица
И Богородица – испокон.*

*Набухшие почки и паводок
Набухший в томленье низин...
И разве случайно совпало так,
Что я в этот день водрузил*

*Скворешницу... То-то обрадую
Жену – измечталась по ней.
Пожалуйте, гости пернатые!
Хоть кто-нибудь... Хоть воробей...*

*Синица, бессменная данница,
Живи, не пугайся ничем.
Бен Ладен сюда не дотянется.
Фугас не заложит чечен.
Котяра соседний заранее*

*Сгрызает уж когти свои.
Он, лапочка, жаждет братания.
Мы дети единой семьи.*

*О, тайна благовествования!
О, смутные грёзы земли.*

* * *

31 октября. Соловецкий камень
завален цветами. Их больше, чем
людей. Неужели нас снова затопчут?..
Из письма.

*Не будем путаться: чья вина?
Взлетать на взрывной волне.
Свобода мало кому нужна.
Тем паче в нашей стране.*

*Смётанной из сплошных прорех.
Звезда ли, двуглавый орёл...
Нет, уже не затопчут тех,
Кто подлинную обрёл.*

АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Александр Кацура

Окошко трамвая

В начале пятидесятых Леша вместе с мамой, бабушкой и старшей сестрой ютился в дальней комнате большой коммунальной квартиры на пятом этаже серого шестиэтажного дома, построенного в начале века. Громадина дома с пропыленными завитушками по карнизам второго и пятого этажей возвышалась над более чахлыми постройками Зарядья. Из их окна было видно далеко. До гранитного парапета реки, на той стороне которой торчали черные крейсерские трубы гидроэлектростанции, было двести шагов, до кремлевской стены и Спасской башни – четыреста. А если точнее, то четыреста семнадцать.

В свои почти двенадцать Леша полагал себя изрядно взрослым и даже был уверен, что, в общем и целом, понимает мир. Он был из породы всезнаек, уверенно рассуждал про числа Фибоначчи и Торричеллиеву пустоту, знал, что редко поставленные зубы и приросшие мочки ушей по Чезаре Ломброзо знаменуют преступный тип человека, легко мог назвать столицу любого мало-мальски знаменитого государства и примерную численность его населения и полагал, что разбирается в политике, поскольку был уверен, что в угнетенных странах рабочий класс поднимает свою мускулистую руку, собираясь окончательно изгнать капиталистов и моно-

полистов, которые не только эксплуатируют народ, но заодно хищнически вырубают леса и отравляют реки.

Короче, голова его была набита всевозможным хламом. Но главное – он был в курсе, что по выплавке чугуна и стали его родина вышла на второе место в мире и скоро обгонит ту заокеанскую страну, в мрачных темных, застроенных небоскребами городах которой голодные люди роются в мусорных баках, а негры прячутся от Ку-Клукс-Клана.

Он охотно слушал московское радио, единственно доступное, заглядывал в газеты на уличных стендах, а книги глотал со скоростью две штуки в неделю. Книжки эти – «Р.В.С.», «Щорс», «Дети и кинжал», «Адыгейские сказки», «Айвенго», «Записки врача» Вересаева, «Книга для родителей» Макаренко и так далее – он без труда и без разбору добывал в детской библиотеке, которая располагалась в одном из закутков первого этажа их огромного дома. Пожилая библиотекарьша Екатерина Александровна встречала его ласково и даже с каким-то веселым удивлением. Однако ни в одной из прочитанных книг ничего не говорилось про окошко трамвая.

Этот желтый с красными подпалинами трамвай начнут подавать ему в августе шестьдесят пятого года, когда он, к тому времени молодой и одинокий ассистент университетской кафедры, снимет на июль-август отшельническую мансарду одной затейливой дачи в поселке Кратово по Казанской железной дороге.

Трамвай бесшумно выплывал из-за дальнего покосившегося забора, где разрослись кусты малины и смородины, и застывал на песчаной лысине, куда и сбегала лесенка мансарды. Случалось это в третьем часу ночи, когда дежурная сигара была уже выкурена и все на даче уверенно дрыхли. Леша, словно в замедленном танце, спускался по ступенькам и садился в трамвай, всегда в передний вагон и на одно и то же место – в середине справа.

Впрочем, один настораживающий случай был еще в раннем детстве. Но разве умеем мы придавать значение таким

особым точкам? В конце войны, когда Леша с матерью вернулся из эвакуации, ехал он как-то с ней в переполненном трамвае от Нижних Котлов до площади Ногина. Усталая мать не могла держать его на руках, и он в свои неполные четыре стоял среди чьих-то ног, пальто и пахнущих морозной сыростью и махоркой шинелей.

Когда он вытягивал шею, становились видны белые морозные стекла вагона с редкими прозрачными дырочками, проделанными с помощью нагретой теплым дыханием монеты. Счастливы, сидевшие у окон, прильнули к этим дыркам, словно к перископам подводной лодки. Они видели сияющий недоступный мир, а ему оставалось упираться взором в чьи-то темные фалды и хлястики.

Трамвай стучал на стыках, визжал на поворотах, дорога казалась бесконечной, и он сжился с мыслью, что никогда и ничего уже в этой жизни не увидит.

И вдруг в какой-то момент нескончаемой тряски с деревянного сиденья у окна поднялась женщина и сквозь спины, локти и сумки донесли до Леши слова:

– Иди-ка сюда, мальчуган, садись. Намаялся, видать.

Леша не поверил счастью. Робко попытался сделать шаг в толчее. Но поднял голову и застыл. О ужас! О невезенье! Как раз возле этого несчастного сиденья окно – кажется, единственное на весь вагон – не имело стекла и было наглухо заколочено куском шершавой желто-коричневой фанеры. Сидячее место, освобожденное сердобольной женщиной, выглядело темным и мрачным. Кто-то слегка подтолкнул его к деревянному креслицу. Леша непроизвольно уперся. Садиться в эту тьму казалось ему бессмыслицей. Что-то сердито зашептала мать. Леша только мотнул головой.

– Упрямый мальчик, – сказали в вагонной толпе.

Всей напрягшейся детской душой понимал Леша, что не нужно ему никакого отдыха, никакого глухого, темного сиденья, а нужно – окно в мир. Да пусть хоть самая малая дырочка. Кружок от копейки. Но объяснить это ни толпе, ни собственной матери он был не в силах.

– Неблагодарный мальчик, – буркнул какой-то дядя в полушубке и фетровых бурках, усаживаясь у фанерного окна.

А Леша увидел вдруг, как ненавистная фанера вспыхнула и начала съезживаться, сгорая. На миг открылся мир – окраина незнакомых дворов, башня у зеленой лужайки, крепостная стена с переходами, галереями и бойницами. Где это? Как попасть туда?

Трамвай дернулся, глухая фанера окна была на месте, а запаха паленого дерева не почувствовал ни один пассажир.

Когда внезапно умер Сталин, Леша был потрясен. Он вообще не мог взять в толк, как мог умереть этот огромный стальной вождь. Разумеется, Леша прекрасно осознавал, что настоящий Сталин – теплый живой человек небольшого роста. Он живет за красной зубчатой стеной, пыхтит ночами трубкой, думает о новых каналах, лесозащитных полосах и счастье детворы. Но как раз потому, что тысячекратно существует стальной и каменный Сталин, оба вождя – живой и изваяние – нерасторжимы и неумертвимы.

И все же сомнения терзали Лешу.

– Послушай, – спрашивал он сестру, которая была старше и умней, – неужели он может умереть?

– Разумеется, не может, – фыркала сестра, сердито тряся косами. – Что за глупый вопрос!

– А если все же умрет, то кто будет вместо? – допытывался Леша. – Кто первого мая выйдет на трибуну мавзолея?

– Конечно, товарищ Молотов, Вячеслав Михайлович, – уверенно отвечала сестра, – только он не умрет. Не может такого быть.

А вечно голодному Леше иногда думалось, что этот живой и теплый Сталин мечтает о встрече с ним. И не раз Леше мнилось, что вот идет он по улице, скажем, вниз по булыжнику Большого Ивановского, и вдруг рядом тормозит огромный сверкающий «ЗИС-110», а, может быть, и «Паккард», опускается стекло, и добрый голос говорит «Мальчик, что ты идешь один, такой грустный? Садись, расскажи, что на душе? Почему такой бледный? Давно не ел? Нехорошо! Мама огорчится».

Открывается дверь, выскакивает щеголеватый офицер и приглашает его в машину, ласковые руки помогают. И вот там, в полутьме автомобильных подушек он начинает тихо беседовать с пожилым человеком с такими знакомыми седыми усами.

Второго марта двоечник Чекунов сказал:

– Сталин заболел.

– Не ври, – зашипели оторопевшие одноклассники.

– Чего не ври! – зашипел в ответ Чекунов. – Я сам только что видел, как Иван Васильевич плакал. Вредители врачей арестовали, и Сталина теперь лечить некому.

Если плакал сам Иван Васильевич, всесильный и страшный директор школы, то дело, видать, серьезное.

Утром пятого марта радио сказало нечто немыслимое. В огромной квартире открылись и уже до вечера не закрывались двери. Вечно враждовавшие соседи ощутили внезапное горестное единение.

Леша смотрел на плачущих взрослых, и у него защипало глаза. Он не был плаксой. Ни один хулиган из заднего двора дома номер три и даже из страшного своей враждебной шпаной протянувшегося на целый квартал и похожего на муравейник дома номер пять никогда бы не вышиб из него ни слезинки.

Но сейчас Леша считал невозможным скрывать свои чувства. Беззвучно рыдала на кухне соседка Эсфирь Марковна. Мать, не вставая с кровати, лишь жестко сжала губы. Инвалид Порфирий Иванович в грязной белой майке и высоко подшитой на отсутствующей ноге штанине испуганно оглядывал прокопченную черную кухню, куда постепенно набилась вся онемевшая в эти минуты квартира.

В школе Лешу поставили в почетный караул у затынутого черной и красной лентой бюста почившего вождя. Нужно было десять минут держать руку над головой в пионерском приветствии, прежде чем тебя сменят.

Придумавший этот ритуал директор слабо соображал, что это такое – десять минут. По существу это было пыткой, но

Леша думал, впрочем, как и все остальные, что так и полага-
ется в день смерти любимого великого Сталина.

В день похорон вождя сестра Галя, которая в свои шест-
надцать чувствовала себя вполне самостоятельной, исчезла
куда-то с утра. Уже днем мама и бабушка пришли в сильное
волнение. Поздним вечером, когда они, почти потеряв на-
дежду, беззвучно шептали молитвы, она заявила как ни в
чем не бывало. Правда, бледная и голодная. Уплетая жарен-
ую картошку, рассказывала, что они с подружкой Надькой
в бушующей толпе поступили очень умно – заползли под
военный грузовик и пролежали там до вечера. А Леше она
потом шепнула, что к ним под грузовик затекала кровь раз-
давленных людей.

А еще через несколько дней по радио и газетам прошеле-
стела неожиданная новость. Из тюрем выпустили кремлев-
ских врачей-отравителей. Эти врачи-убийцы сильно зани-
мали воображение людей. Леша помнил, как второгодник и
злой драчун Полуныин почти на каждой перемене бродил по
рядам, мрачно сплевывал и угрожающе бормотал «А, евреи!...
Отравить нас всех задумали!» Гриша Басензон, здоровенный
парень и прирожденный боксер, втягивал голову в плечи и
подавленно молчал. И вот врачи оказались невиновны. И
кругом только и слышно было: Вовси, Коган, Виноградов...
Кто-нибудь из взрослых обычно спрашивал: «А Виноградов-
то как сюда попал?»

А Эсфирь Марковна на кухне, то ли смеясь, то ли рыдая,
заламывала руки и говорила: «Я ведь знала, я чувствовала...
не могло быть иначе... умница Берия, чудо Лаврентий Па-
лыч... Он разобрался, он первый понял, что светила меди-
цины не могут быть злодеями...» Вокруг говорили: «Берия
выпустил врачей». Надолго запомнил Леша высокий, срыва-
ющийся голос соседки: «Умница Берия, чудо Берия!»

Имя это ему было знакомо. Его мать работала старшей
лаборанткой в замечательном учреждении под названием
Палата мер и весов, которое располагалось в Гранатном пере-
улке. Путь туда лежал через Никитские Ворота, где справа, в

начале бульвара, на низком постаменте черной свечкой стоял безмолвный и, похоже, очень грустный человек. – Тимирязев, – объяснила мать.

Леша немного знал эти места, поскольку мать изредка, когда сына некуда было деть, брала его с собой на работу, в ее лабораторию, где он охотно торчал целый день. Сотрудники подкармливали его бутербродами, а бывало, и мандаринами, пока он с интересом рассматривая различные измерительные приборы – от маленьких линейек и рулеток до каких-то огромных машин, работающих от электричества.

Шли они от дома до института пешком, минут сорок. Начинался их путь на улице Разина. Далее сумрачным Хрустальным переулком шли к Красной площади, всегда пустынной и чистой, затем по Моховой, по улице Герцена до бульвара, за которым маячил вдали светло-зеленый в белой лепнине пятиэтажный дом, острым углом выплывающий, словно крейсер, на площадь.

К сожалению, мать ни разу не взяла его с собой в столовую Дома архитекторов, который был в трех минутах ходу от Палаты мер и весов.

В один из вечеров мать стала рассказывать бабушке, что всякий день она и несколько ее сослуживцев, идя в Дом архитекторов, вынуждены проходить мимо некоего длинного каменного забора на углу Вспольного переулка. Того самого забора, тихо продолжала мать, за которым находится *его особняк*. Бабушка кивала с полным пониманием, а Леша не мог сообразить, о ком речь. Но это был не его разговор, и вмешиваться со своим вопросом он не считал нужным. А мать добавила звенящим шепотом, что она, равно как и ее сослуживцы, поравнявшись с забором, как по команде ускоряют шаг, а головы отворачивают в другую сторону. А однажды – кажется, это было в теплом октябре пятьдесят второго года – мать рассказала бабушке довольно странную историю.

Поступил к ним на работу молодой человек по имени Андрей, только что закончивший Станкоинструментальный ин-

ститут, который мать называла коротким и звучным словом *Станкин*. Оказался этот Андрей славным парнем, неумелым, добрым и близоруким. Женщины лаборатории тут же взяли его под опеку и охотно поведали ему, где и как можно славно пообедать.

Когда молодой человек в первый раз пошел с ними, они доступными средствами объяснили ему, как следует преодолевать одно *известное* по дороге место. Молодой инженер никак не мог взять в толк, о чем они стрекочут, а когда уразумел, то немедленно поднял женщин на смех. «Что? – восклицал он возмущенно. – Вы не смеете даже взглянуть на забор, за которым находится дом выдающегося деятеля нашей партии товарища Лаврентия Павловича Бери! Одного из вернейших соратников товарища Сталина? Да вы просто мокрые курицы, а не советские люди!»

Андрей на следующий день, когда в обеденный час они привычной цепочкой двигались, как по минному полю, к Дому архитекторов, этот несносный Андрей вдруг словно бы споткнулся, круто повернул, пересек проулок и двинулся к *тому самому* забору. Женщины в страхе втянули головы в плечи, не помнят, как пообедали, как в институт вернулись. Сели по своим местам и молчали.

Андрея не было. Когда он не появился на следующий день, они с тем же воем и плачем кинулись к заведующему отделом, бормоча со слезами, что Андрей да, шалопай и несмышлениш, но нельзя же из-за этого жизнь себе ломать. Заведующий Сергей Федорович Цилин, усталый добрый человек с черной коробочкой слухового аппарата в ухе, провод от которого тянулся куда-то за отворот пиджака, кротко вздохнул, тяжело поднялся с кресла и пошел к директору. Директор этот был известен тем, что каждое общее институтское собрание заканчивал задушевными словами о товарище Сталине.

С неестественным блеском в глазах и со сладостным шипом, переходящим в тонкий свист, произносил он слово *генералиссимус*. «Генералиссимус Сталин, – к примеру, говорил он, – пишет свои выдающиеся теоретические работы столь же

глубоко и мудро, как и товарищ Ленин, но... – тут он особо торжественно бледнел, закатывал глаза и добавлял, – но более ясным, простым, более доступным для трудящихся языком». И строго оглядывал публику. Никто не возражал.

Войдя к директору, Цилин спокойно и внятно изложил суть происшедшего. Но смертельно побледневший директор накричал на него, заявив, что компетентные органы разберутся сами, и выгнал из кабинета. В слуховом аппарате Сергея Федоровича еще долго звенело и дребезжало «ге-не-рали-сссссимусс».

Андрей не пришел и через месяц, не пришел и через год. Постепенно о нем забыли. Наверное, все кроме Леши.

Лето пятьдесят третьего года Леше довелось провести в пионерском лагере, в лесу, недалеко от села Михнева по Павелецкому направлению. Однажды он брел по аллейке в сторону столовой. До обеда было еще не меньше часа, но он, глотая голодную слюну, имел намерение прочесть меню предстоящей трапезы. Неизвестно, как сейчас, но в те времена в их лагере такое рукописное меню на двери столовой вывешивали ежедневно – суп перловый, биточки с вермишелью, компот из сухофруктов.

И вот Леша за час до вожделенных биточков и компота, шел хотя бы почитать о еде. Но не дошел. Внезапно затормозил он у одинокого стенда, где ежедневно вывешивали московскую газету. Бросились в глаза слова: *разоблачение английского шпиона Берия!* Почти вся газета была посвящена разбору дела матерого врага народа. Леша огляделся. Вокруг никого. Пионерский лагерь не интересовался московской политикой. Леша внимательно все прочитал и всему поверил. Да и как можно было не поверить газете «Правда»?

Не верить газетам в свои двенадцать лет Леша еще не умел.

...В одну из темных августовских ночей шестьдесят седьмого года ровно в два ночи к заднему крыльцу дачи неслышно

подъехал трамвайный поезд из двух вагонов. Леша тихонько, без скрипа, отворил дверь своей каморки и спустился вниз. Двери переднего вагона были открыты, в полнакала горели лампы. На задний вагон Леша старался не смотреть. Почему этого делать не нужно, он не знал, но холодноватое ощущение запрета жило в нем.

Пряно пахли цветы, негромко стучал молоток кузнечика, где-то ухнул сонный товарняк. Леша поднялся в передний вагон и сел в середине справа, у того окна, которое много лет назад было заколочено фанерой. Впрочем, сейчас едва ли он вспомнил об этом.

Ощущение полета было плавным. Трамвай закончил свой путь на улице Куйбышева – бабушка называла ее Ильинкой. Наполовину въехав носом на Красную площадь, трамвай застыл. Несмотря на раннее утро за веревочным оцеплением стояли бескрайние тысячи молчаливо гневных людей.

В трамвайное окошко залетал прохладный ветер. Но петли из толстых веревок под высокими перекладами висели неподвижно. Поверх голов толпы Леша разглядел бесчисленные транспаранты. Некоторые лозунги ему удалось прочесть: «Смерть презренным собакам!», «На виселицу подлых предателей!», «Да здравствует Л.П. Берия – верный продолжатель дела великого Сталина!» «Нет пощады убийцам и шпионам!» – «Ведут, ведут!», – прошелестело в толпе.

Они шли медленно.

Первым, собрав остатки сил, шел невысокий лысый человек. Его еще недавно здоровое и надутое жизнью тело было похоже на шар, который проткнули шилом. Шар сморщился и обвис, выпустив большую часть воздуха. Осталась желтая мятая оболочка, которую он придерживал скрюченными руками.

Следом в сером бесформенном кителе брел человек, похожий на рыхлую бабу. Толстое безглазое в кровоподтеках лицо лишено было всякой осмысленности. За ним колеблемая ветром плелась невысокая тень со щеточкой темных усов под горбатым носом.

Далее шли еще пятеро, а замыкал процессию круглолицый человек в пенсне и в аккуратном европейском костюме с галстуком. Похоже, он был единственным из этой приковавшей жадный взор толпы цепочки, кого накануне не избивали. Бледное лицо его было невозмутимо. В скоплениях людей на площади и в прилегающих улицах раздался долгий, непрерывный крик-гул: «Смерть! Смерть! Смерть!»

Еще одно пенсне сверкнуло с трибуны мавзолея. Там, низко надвинув черную велюровую шляпу на лоб, в темном квадратном пальто стоял человек, на которого с обожанием и страхом глядели глаза миллионов.

В этот холодный ноябрьский день пятьдесят третьего года на центральной площади самой великой и самой свободной страны мира надлежало публично казнить девять главных народных врагов и еще пятьдесят три из сброда второго эшелона. Многие тысячи других расстреливались в подвалах и на задних дворах тюрем. До принародной гибели в петле они не дослужились.

Лысый человек, дойдя до эшафота, споткнулся. Солдаты поддерживали его с каменной грациозностью. Под перекладными засуетились палачи, поправляя высокие табуреты.

Трамвай тихо тронулся задним ходом.

На следующее утро Леша встал поздно. В сад спустился к полудню. Эльвира Степановна, дама с мощной красивой фигурой, снимавшая внизу комнату с верандой, сидя в гамаке, пила кефир из высокой фаянсовой кружки. Пеньюар ее был слегка распахнут.

– Ну вы и спите, Алексис, – сказала она томно.

Леша издал хриплый нечленораздельный звук и пошел к умывальнику.

В глазах Эльвиры зажглись тяжелые огни.

– А я вот соблюдаю диету. Для стройности фигуры, – сказала она воздушным голосом. – Как говорят англичане, *ай кип даэт*.

– Это прекрасно, – буркнул Леша сквозь пузыри зубной пасты.

– Алексис, Леша, почему вы такой вредный? – говорила Эльвира в Лешину спину. – Такой некомпанейский. Как неродной.

– Угу, – сказал Леша. – Я родной.

– Вы какой-то отсутствующий. Все о чем-то думаете.

Внезапно Леша повернулся, подошел к ней вплотную, в клоунских разводах белой пасты, худой, землисто-серый, с нечесаной гривой. Сказал негромко и четко:

– Я задумал убить человека.

Лешину мать забрали в конце пятьдесят второго. Время было надтреснутое. В воздухе пахло смертью, жизнью, осенними грибами, ближе к новому году – свежесрубленными елками и мандаринами. Следователи почему-то не били арестованных, вели себя необычно корректно, словно к чему-то прислушивались. И вместо брани говорили порой странные речи.

Арестованные бросали на них испуганно-тяжелые, полные сомнений взгляды. Последними они узнавали, что там, наверху, в большом мире, умер любимый вождь. Кое-кто стал возвращаться домой. Мать вернулась неожиданно быстро, месяца через два, еще до *великой смерти*. Редчайший случай.

Молча она легла на кровать и больше с нее не вставала. Она пролежала одиннадцать лет. Спасибо бабушке. Они умерли в один год. Сначала бабушка. Простудилась под холодным осенним дождем и сгорела в неделю. Через полгода ушла мать. Эти полгода свалились на Лешу. За месяц до смерти мать неожиданно просветлела. Ей что-то открылось.

От устья Ильинки до мавзолея метров сто или больше. Тут бы лучше с оптическим. Да где взять? А если шрапнелью из двух стволов? Сектор поражения заметно расширяется.

Леша брал в руки прекрасную тяжелую тульскую двухстволку шестнадцатого калибра. Ничего, попробуем и с этим. А что если в патроны с крупной дробью напихать кусочки железа? Он только не знал, дозволено ли входить с оружием в трамвай. Оказалось, можно.

Однако трамвай на Ильинку в этот раз не повернул. Он проскочил какие-то переулки, по мосту проплыл над черной водой реки с зеленоватыми разводами нефти и чешуйками бликов от дальних фонарей. Остановился у приземистого здания, в котором, как позже выяснилось, размещался штаб московского военного округа. Трамвай неслышно рассек скупую освещенную желтую стену, нырнул вниз и остановился, когда окно переднего вагона, у которого сидел Леша, совместилось с дверью полуподвальной комнаты.

Там, на топчане, в комьях шинелей и одеял, беспокойно спал человек. «Женщину, я требую женщину», – бормотал он во сне, слегка хлюпая губами и пуская пузыри. Внезапно он сел, близоруко прищурился. Его глаза, встретившись с Лешиними, расширились.

– Ты кто? – спросил хрипло. – Тебя прислали убить меня?

Он беспомощно дернулся, солдатское одеяло свалилось с колен на пол. Леша увидел раздавленного, обреченного человека. Стрелять не имело смысла.

– Нет, – сказал Леша. – Никто меня не посылал. Я сам.

– Тогда зачем?

– Не знаю.

– Ты не от Кобулова? – близорукие глаза на секунду зажглись.

– Нет.

– Кобулов тоже арестован. Я знаю, – жирные плечи его обвисли.

– Кажется, арестован, – сказал Леша.

– И все же, ты кто?

– Так. Путешественник.

– Здравсте! Интэресно получается. Как тебя сюда пустили? Кто?

– Я сам умею, – сказал Леша.

– Врешь! – человек вздохнул.

– Видите ли, я решаю одну загадку. В жизни каждого человека много загадок, но есть одна – ключевая. Если хотите, роковая. Обидно уйти, так и не решив ее.

– Допустим. И что?

– Сюда я попал случайно. Так получилось.

– Нэпонятно.

– Скажите, – Леша на секунду напрягся – Вы не помните молодого человека по имени Андрей, который примерно год назад пытался проникнуть в ваш дом на Вспольном?

– Нэт.

– Он пытался заглянуть в ваш двор и был схвачен охраной.

– Мало ли кого хватала охрана! – человек пожал плечами: что спрашивать?

– В последнее время, – сказал Леша, – меня занимает проблема убийства. Что это значит – убить человека?

Его собеседник молчал. Потом, едва улыбнувшись, сказал тихо:

– Сталин учил нас, что убивать – приятнейшее занятие на свете. Если только вообразить, что ты убиваешь врагов. А врагов вокруг мно-ого! Впрочем, не все с ним соглашались.

– Убивая, вы получали удовольствие?

– Нэт. Хотя значения это теперь не имеет. Теперь я раскаиваюсь.

– Не поздно ли?

– Врагов было немало. И все же – готов раскаяться. Мне отсюда уже не уйти. Они не выпустят. Они боятся меня больше собственной тени. И напрасно. Ты знаешь, если бы я пришел к власти, я бы их не тронул. Бросил бы на периферию совхозами заведовать да станциями машино-тракторными. Все равно на большее не способны. А вообще-то первым делом я дал бы послабление мужику. Честное слово, дал бы. Мне хотелось что-то сделать для мужика. Разогнать богательни, которые называют колхозами. Пусть мужик пашет землю сам, как знает и умеет. Урожай стране нужен. Давно нужен. Амбары пусты. В городах за хлебом очередь.

– Забавно, – сказал Леша. – Вблизи вы самый обыкновенный. Мне даже вас жалко. Неужели это потому только, что вас раздавили?

Глаза человека злобно сверкнули, но он тотчас пригасил их.

– Молодой человек, дано ли тебе постигнуть те вершины, с которых слетел я?

– Видимо, не дано. Но дело разве в этом? Скажите, как нужно поступать с негодьями, как бы высоко они не сидели? Как с врагами?

Человек нагнулся и поднял с земли одеяло. Закутался в него. Потом сказал:

– У тебя есть враги? Ты подумываешь об убийстве? Не советую.

– И все же я думаю о нем.

Трамвай дал задний ход, выбираясь из штабного здания, окруженного тройным кольцом охраны.

Он тогда обманул Эльвиру. Ибо задумал убийство не одного человека, а четырех или пяти. Будущие жертвы подбирались по-разному. Был слабый и гадкий человек, который, не дожидаясь побоев, начал охотно оговаривать своих знакомых и сослуживцев, заискивающе заглядывая в оловянные глаза следователей. Так была арестована Лешина мать.

Был и такой случай. Из других времен. В университетские годы, оттепельные, веселые, Леша одно время состоял членом неформального кружка под скромным названием «Клуб любителей искусств». Самостийный кружок этот раз в неделю собирался в общежитии женской зоны, в гостиной шестого этажа.

На его заседания приглашались подпольные абстракционисты, доморощенные сюрреалисты и прочие бородатые личности, не приемлющие фальшивого официоза в живописи. Спорили о Фальке и Пиросмани, о Миро и Браке, о Глазунове и Эрнсте Неизвестном, вскользь касались политики. Эпоха была с виду добродушная, хрущевская.

И все-таки клуб разогнали, а кое-кого из его активистов отправили в места не столь отдаленные. В северную ссылку, в мордовские лагеря, еще куда-то. Лешу не тронули скорее

всего потому, что из-за лени и разгильдяйства большую часть последних заседаний он пропустил, малюя в своей комнатке какие-то темные, ему одному понятные работы, которые он, к тому же, никому не показывал.

Позже Леше довелось узнать, кто был провокатором. Однажды трамвай ровно на минуту завез его на одиннадцатый этаж гостиницы «Москва». Скромный двухкомнатный номер. Не без смятаения увидел Леша одного из своих знакомых любителей живописи в момент получения инструкций от корректного дяди в штатском. «Мы исходим из того, – рокотал дядин голос, – что от абстракциониста до террориста один шаг. В соответствии с этим и будем действовать». Знакомый покорно кивал.

Наиболее личный случай был связан с Лешиной студенческой любовью. Леша знал, кто отбил у него возлюбленную, кто соблазнил ее. Но не знал подробностей. Трамвай доставил его на ту самую вечеринку. Леша, нервный и вспыльчивый, был тогда в ссоре с Леной. Она, подчеркнуто гордая и немного легкомысленная, одна или с подругами ходила в компании.

В тот вечер, когда все основательно поддали и разбредись по углам большой и грязной квартиры, старшекурсник Женька Данилов, известный в их среде как знаток джаза и боксер-любитель, грубо схватил Лену и потащил в постель. Она сопротивлялась, дала ему пощечину. Но он в ответ вдруг нанес ей несколько сильных ударов в лицо. Ни жива, ни мертва, она свалилась на кровать. А тот деловито раздел ее и навалился сверху. Самица он был превосходный. До боли сжав кулаки, Леша заставил себя досмотреть любовную сцену. Кончилось дело тем, что Ленка, его Ленка, стонала и выла, обнимала любовника, целовала его в губы, в уши, в волосатую грудь.

Спустя полгода они поженились. Леша слышал стороной, что муж бьет Лену, а она, натура утонченная, влюбленная в поэзию и театр, сносит это. Когда они все же расстались, Леша мечтал увидеть ее. Но сам шага не сделал, а случай не свел.

Бывали минуты, когда Леша проклинал страшные трамвайные поездки, но отказаться от них было выше его сил. Да и смел ли он отказаться? С какой-то неземной точностью и мягкостью из-за темных малиновых кустов, из-за двух рябин, выплывали два вагона с лампами в полнакала. Леша как по команде вскакивал, тихо покидал мансарду, неслышно входил в первый вагон.

В одну из теплых ночей вагоны бесшумно носили его по спящему поселку. Леша слышал тихие голоса полуночников, кое-где таинственно светились окна дач, и он, преодолевая внутренние запретные барьеры, заглядывал в эти окна.

Большей частью он видел самые обыкновенные сцены ночной жизни, но изредка – нечто диковинное, загадочное или даже страшное. Красивая полуголая женщина стоит, прижавшись к стене, а четверо мужчин заговорщицки шепчутся у стола. Что здесь происходит? Но трамвай уносил его дальше, не давая времени не только на вмешательство, но даже и на раздумье.

В августовские дни шестьдесят пятого года он способен был видеть только стоп-кадры, но чем дальше в прошлое уносился трамвай, тем более продолжительные сцены показывало его окно.

Когда трамвай увозил его в Москву, более частыми маршрутами были Варварка, Ильинка, Никольская, Поварская, Гранатный. Потом обратно – Моховая, Троицкий проезд, Хрустальный переулок, Рыбный, давно исчезнувший Мокринский переулок, где стояла чудесная древняя церквушка Николы Мокрого.

Где-нибудь в Максимовском или Елецком трамвай зависал основательно. Доносился звон разбивающихся зеркал. А еще через мгновение, после краткого обморока, вбегал Леша в предутренний сад мимо одуряющих флоксов, мимо ржавой бочки с дождевой водой, туда, наверх, забыться до полудня.

В этом дачном поселке он скрывался от многих. Но главное и единственное – он скрывался от нее. От Лены. Почему? Зачем? Да разве искала она его? Даже в мыслях у нее такого, наверно, не было.

Единственный человек на свете, кому он мог бы рассказать про трамвай. Единственный человек на свете, который смог бы его понять. Поверить. Или неправда это?

Почему-то никогда случай не сталкивал его с ней.

Впрочем, однажды было.

Он свернул с Краснохолмского моста теплым октябрьским, каким-то совсем летним днем. Он шел среди суеты машин и автобусов, мимо труб кирпичной фабрички, мимо овощных лотков. Она шла навстречу, простоволосая, с хозяйственной, кажется, сумкой в руке. Глаза их встретились. Он поздоровался онемевшими губами. Секунду она смотрела на него с ожиданием. А ему показалось – насмешливо и равнодушно.

Эх, ему бы прямо тут, на улице, опуститься на колени, взять ее за руку, сказать какую-нибудь жаркую глупость. Она даже спросила его, куда он идет. И он сказал одеревенело ненужную в тот момент плоскую правду – что направляется к приятелю Пете, Вите, Толику, к кому он там шел... К Пете? – ее губы иронически дрогнули. Она тряхнула волосами и пошла себе дальше, гордо размахивая сумкой, а он, дубина стоеросовая, не побежал за ней, не побежал. Вместо этого, механически переставляя ноги, побрел он к этому Пете, Вите, Толику, к кому он тогда шел?

Из каких пространств явился этот странный продавец книг?

Сначала трамвай плыл по Большой Дмитровке, выворачивая на Камергерский. Из своего наблюдательного окна Леша видел, как черный лимузин медленно полз за шагающей по тротуару девочкой с очень милой косичкой и толстенькими прекрасно очерченными ножками. Вот лимузин остановился, ловко выскочил военный, весело козырнул и что-то негромко, веско сказал. И вот уже растерянно улыбающаяся девчушка скрывается в глубинах лакированного авто.

Трамвай ускорил полет и вскоре остановился возле книжного развала. Сухой старик стоял над грудой фолиантов.

Взгляд его был бодр и проницателен, хотя на вид ему можно было дать лет двести.

Леша пробежал глазами по названиям книг. И вдруг понял, что все книги – о способах убийства и истязания людей. О стандартных видах казни – топор, петля, пуля, но и о разнообразных причудливых, вроде бамбука, медленно прорастающего сквозь тело осужденного. Толстые тома были посвящены квалифицированным пыткам, иллюстрации под шуршащей папиросной бумагой были убедительны. Леша высунулся из окна, протянул руку, открыл книгу в порыжевшей кожаной обложке. Ему показалось, что текст написан от руки. Справа сверху красными буквами был выписан эпиграф: «Часто пишется: казнь, а читается правильно: песнь...»

Ниже шло нечто вроде вступления: «Казнью назовем казенное, по долгу службы, исполнение смертного приговора, вынесенного полномочным судом. Институт казни уходит вглубь истории народов. У античных греков умерщвление свободнорожденных полагалось производить способом непубличного отравления из чаши с ядом, как, например, поступали в Афинах, или путем удушения, как делали в Спарте. Побиванье камнями, обезглавливание, утопление, распятие на кресте было уделом несвободнорожденных. Рим добавил к этому сжигание, распятие на кресте, бичевание до смерти и отправление в цирк для участия в смертных гладиаторских боях. Отточили в Риме и искусство декапитации: орудием исполнения в Республике мог быть только топор, во времена Империи – только меч».

– А как с двустволкой? – спросил Леша.

Старик улыбнулся потрескавшимися губами, после чего немедленно их сурово сжал.

Над вечерними цветами маленькими вертолетиками висели жирные стрекозы. Леша пристально наблюдал за ними. А Эльвира смотрела на него. В ее глазах читались восторг и испуг. Хозяйка дачи, энергичная пожилая дама, нарезав огромный букет флоксов, с загадочной улыбкой отбыла в Москву

на сутки. Дачный участок был тих и прозрачен. Двухэтажный дом нависал голубой громадой.

Они продолжили прерванный разговор. Судьбу России они исследовали с восемнадцатого века, поскольку Эльвира только что закончила чтение записок императрицы Екатерины Второй. Коснулись судьбы убиенных царевича Алексея, малолетнего узника Ивана Антоновича, порывистого и легкомысленного Петра Третьего, завалившего свою кровать куклами да игрушками. Для России всегда судьбоносно убийство трех, разглагольствовал Леша. Вот вам пример. Чтобы предотвратить ее разор и падение в пропасть в первой четверти двадцатого века и ее мучения в остальных четвертях, достаточно было задушить в колыбели, в соответствии со спартанскими традициями, Ленина, Троцкого и Сталина. А вместо этого убили Столыпина, Распутина и государя-императора.

– Какие ужасные вещи вы говорите, Алексис, – вздрагивала Эльвира и куталась в шаль.

– Эльвира, вы знаете, когда умер композитор Сергей Сергеевич Прокофьев? Год, число?

– Не помню, а что?

– Он умер пятого марта тысяча девятьсот пятьдесят третьего года.

– Надо же! – удивлялась Эльвира.

– И что это совпадение может означать?

– Простите, Алексис, понятия не имею.

– Означает всего-навсего, что пятого марта все-таки умер великий человек. Светлый гений.

– В этом я не сомневалась, – Эльвира вздохнула.

– Это символ! – сказал Леша. – Разгадать бы его.

Нет, он не обманул ее. Истинно он задумал убийство одного человека. Зачем убивать многих? Долой индустриальное понимание смерти! Долой газовые печи, голод и геноцид. Ведь убийство, чтобы быть глубоким и значимым, должно быть ритуальным, почти символическим. Если трамвай помо-

жет, можно попробовать на взлете карьеры укокошить Сталина, Гитлера... Ежова или Гимmlера... Берию? Нет, Берию он уже не может обмануть. Да и свидятся ли они? Как и куда двинет трамвай? Прибить кого-нибудь из современных? Напрашиваются многие. Президенты, секретари, проворовавшиеся директора, политические авантюристы и послушные им наемные убийцы...

Или лучше разыскать и прикончить подлеца Данилова. А еще проще пришить Эльвиру. Вот она, вся тут, в наливной мощи своего тела и в безнадежной скудости крохотного своего мозга, по отношению к весу тела напоминающего мозг бронтозавра. Это будет поистине высоким убийством. Без цели. Без смысла. Но зато какой символ! Сгинули же когда-то динозавры. А теперь сгинет Эльвира как достойный продолжатель их дела.

Леша подошел к столику, возле которого стояло ведро колодезной воды. Посмотрел на кружку, но не тронул ее, а поднял ведро к губам и сделал большой долгий глоток. Поставил ведро, оглянулся на Эльвиру. В остатках вечернего света она напоминала смелую комбинацию из парижской манекенщицы и нашей отечественной девушки с веслом. Ее роскошное тело повезут на катафалке недоумевающие родственники. Угрозыск собьется с ног – поди, раскрой немотивированное убийство. Да, это было бы то, что нужно.

Он подошел к ней вплотную. Она вздрогнула.

– Ах, Эльвира, – сказал он. – До чего же вы хороши. Такая интересная женщина и такая умная. Редчайшее сочетание.

Когда трамвай подъехал к книжному развалу, старик все еще улыбался своими запекшимися губами. Впрочем, глаза его были холодны, почти мертвы. Леша жадно вглядывался в книги. Тех, про убийства и казни, не было и следа. Зато лежали в избытке антропософские и оккультные сочинения. Леша потянулся к черному в серых пятнах сырости переплету с мелкой, какой-то невзрачной надписью «*талант*». Но старик положил на книгу руку.

– Хотите знать, что есть талант? – молвил он тихо. – Я скажу вам. Талант – это всего лишь окно, канал, путь. Не более того. Это линия связи с тем миром, – он неопределенно махнул рукой куда-то вбок и вверх и поморщился. Каждый рождается с подобной линией, вернее, с ее зародышем, с ее проектом. Считается, что этот дар надо услышать в себе, беречь его, растить.

И бывает – не столь уж часто, к сожалению, к счастью ли? – через открывшийся канал на человека сбегает и образы, и мысли, и чудесные мгновения узнавания божества. И он, переполненный или даже изнемогающий, несет их в мир. Словно скидывает часть груза. И многие вокруг бывают поражены, одни радостно, иные ревниво. Но и те, и другие говорят: талант!

А теперь скажи мне, можно ли насильственно закрывать это окно? А ведь каждый человек есть окно. Не более того, но и не менее. Конечно, уж слишком много вокруг жалких, подслеповатых окошек. Что с того? Не закрывай ни у кого, ни у друга, ни у врага, ни у самого отпетого мерзавца, ни у случайно вставшего на пути ягненка. Закроешь окно – пере-режешь нить. Страшнее беды нет. Она вернется к вам. Вернется к вам.

– Дайте мне эту книгу, – взмолился Леша.

– Не дам, – сказал старик. – Отправляйся так.

По правде сказать, Леша чувствовал, знал, что трамвай хотя бы еще разок свезет его в тот приземистый желтый штаб на набережной. Ночи стояли теплые, но в вагоне его колотил озноб.

Впечатление было такое, будто узник ждал его. Он сидел на койке, поджав ноги, кутаясь в одеяло и беспокойно озираясь. Недавно у него была очередная перепалка с охраной. Как всегда в начале ночи, он требовал женщину. Подумать только, на пороге бесславной гибели эта жирная обрюзглая туша хотела любви. Плотской, грубой, животной. И все же – любви.

Когда, встряхнувшись, Леша выглянул в окно плавно затормозившего вагона, он увидел на расстоянии протянутой руки усталого измученного человека с красноватыми отметинами на переносице от вечного пенсне. Взгляд его был неприятен.

Но вдруг Леше стало жаль его. Да, мне стало жалко тебя, ужасный человек Лаврентий Берия. Я знаю, ты мерзавец. Но разве обозначены границы для жалости?

Ты страшный негодяй, Лаврентий. Не последний человек из стаи негодяев. Но ведь и тебя оболгали, не так ли? Такова природа этого режима, этой власти. Кого они, сговорившись, выкидывают, того чернят беззаветно, не догадываясь по неизбывной глупости своей, что этим чернят и самих себя, всю свою шатию. Какими только клеймами по тебе не лупили? И даже – шпион английский. Кстати, Лаврентий, в молодости не якшался с британцами на Кавказе?

– Только по заданию ячейки, – сказал Берия неуверенно.

– Не ты ли список комиссаров им подбросил? Тех самых, двадцати шести.

– Нэт! – сказал узник мрачно.

– Слушай! – воспаленные глаза его блеснули. – Почему ты ко мне ходишь? Что, нет убийц пострашней? Почему к Ежову не ходишь? Почему к Сталину не ходишь?

– Какой смысл? Их уже нету.

– Что значит, нэту? Кто это знает? Кому ведомо, где мы все?

– И потом, не от меня зависит. Эта штука, – Леша осторожно стукнул ладонью по стенке трамвая, – сама меня возит. Короче, не знаю. Может, она реагирует на мои невысказанные желания, тайные мысли.

– Тайные? – он на мгновение оживился. – Нэ хорошо иметь тайные мисли.

– А вы знаете, – внезапно сказал Леша, – мне ведь доводилось видеть вас словно бы на другом повороте истории. На другой, так сказать, тропе исторического развития. Тогда, в роковом июне пятьдесят третьего, именно вам удалось обезвредить и арестовать своих ближайших смертельных друзей.

Следствие вы провели образцово. Я видел, как спустя всего месяц вы уже стояли на трибуне мраморной гробницы как единоличный диктатор России.

Его выпуклые глаза невидяще просияли. И тут же погасли.

— Я хотел народу послабление дать. Нэ веришь? Честное слово даю. Я ведь добрый. Кто нэ слеп, тот увидел бы. При Сталине мы, конечно, нажали на народ. На мужика, в особенности. Несогласных ликвидировали, было дело. Берия — убийца? А кто им не был? Я-то с Хозяином еще, бывало, спорил. Эти же мэрзавцы только в глаза ему рабски заглядывали. Все расстрельные списки подписывали. Сказал бы он «лижи сапог!», лизали бы. А я людей защищал. Когда я Николая Ивановича сменил, количество расстрелов, между прочим, вниз пошло. Резко пошло. Я ученых из лагерей выпускал. Инженеров. Кто бы еще осмелился их у Сталина вырвать. Случайно ли он атомную бомбу мне поручил, а?

— Рассказывают, армянского секретаря вы застрелили прямо у себя в кабинете?

— Он меня довел. Слушай, честное слово, довел. Нервы нэ выдержали.

— Скажите, Лаврентий Павлович, а что Сталин, он ведь не своей смертью помер?

Берия поднял глаза. Они были полны страха. Некоторое время он молчал. Потом медленно начал:

— Дэло врачей помнишь? Я тебе так скажу. Я сразу смекнул, куда ветер дует. Ведь эта блядушка Тимашук не в органы пошла, она в ЦК пошла. Почему в ЦК? Не доверяешь органам? Они плохо работают? Прохлопали под носом врачей-отравителей? Прямо в Кремле травили, понимаешь, людей, а органы куда смотрели? Ты представь, всех наших врачей взяли. Моего личного эскулапа тоже забрали. У дурака Никиты не поленились забрать врача, который его еще в Киеве пользовал. Прямо там и взяли. Вот как круто дэло пошло. Потом моих друзей в Мингрелии стали брать. Одного за другим. Что они на допросах показывают? И дураку ясно.

Товарищ Берия отдал приказ отравить товарища Жданова, товарища Щербакова, а заодно, в далеком тридцать шестом и товарища Горького, пролетарского писателя. А контролировать мингрельских следователей из Москвы мне было затруднительно. Расстояние! И фактор времени!

Ты знаешь, что такое фактор времени? Какие дальнейшие шаги Сталин задумал? Ежову в тридцать восьмом нэ было ясно. Зато ежу в январе пятьдесят третьего стало слишком ясно. Смэну караула хозяин задумал. Как кур нас передушил бы. Да к тому времени караул уже и сам устал. Смекаешь?

– Раньше вы не могли об этом задуматься? Скольких бы людей спасли. В том же тридцать восьмом, вами упомянутом? Да хоть бы Бабеля с Мейерхольдом, а? А в сорок пятом вообще можно было власть поменять. Момент был удобный. Рузвельт умер героем. Почему бы и генералиссимусу не почить на пике славы? Скажем, после парада Победы. Салют, залпы, страна ликует. Вождь в патриотическом угаре хватил ледяного шампанского, а легкие старческие, прокуренные. Никто бы и вопроса не задал. Погоревал бы народ и забыл через месяц.

– Ты нэ знаешь этого человека. На него невозможно было поднять руку. Вблизи он внушал ужас. Он нас всех к убийствам приучил, это правда. В убийстве, я тебе так скажу, в самой практике этой труднее всего, сложнее всего начать. Через самого себя нужно переступить. Ну, а потом дается все легче и легче. Во вкус входишь. Страшная, скажу тэбе, вещь. Затягивает. Ох, как засасывает. Но теперь... каюсь.. дурак был. Совесть, понимаешь! Говорят, ее нэту. Врут, есть она. Поздно ли, рано ли – просыпается. И скребет, и скребет... Слово даю.

Близорукий лысый человек поднял тоскливый взгляд.

– Скоро конец. Они не выпустят меня. Знаю. В живых оставить – для этого смелым надо быть. Я смелый, я бы их оставил. Они меня боятся. Что ж, правильно боятся. Слушай, – глаза его блеснули, – а ты не можешь меня спасти? Вывести отсюда тыхонько. Как ты сюда попадаешь? Как ухо-

дишь? Лаврентий Берия тебе все даст. Королем сделает. Хочешь, венгерским, хочешь, персидским. Спаси, дорогой!

Леша покачал головой.

– Даже если бы мог, не стал бы.

– Я знаю, ты не можешь, – вздохнул бывший сталинский министр. – Ведь ты всего лишь мой сон.

– А вы – мой, – сказал Леша.

Трамвай внезапно дернулся, словно по нему прошла дрожь.

– А девочка? – спросил Леша поспешно.

– Дэвочка?

– Та, с косичкой и толстыми милыми ножками.

Лицо его неожиданно просветлело.

– Я осчастливил ее, – сказал гордо. – У нее растет дочь.

И тут глаза его, воспаленные близорукие глаза, стали мокрыми.

Трамвай еще раз дернулся и поплыл.

Светало, когда трамвай прибыл на дачный участок. Леша выбрался из вагона, вдохнул пахнувший цветами и скошенной травой воздух, слегка расправил плечи и впервые, преодолевая одеревенелость мышц, оглянулся на задний вагон.

Уже последняя секция переднего вагона выглядела странно – похоже, она была изготовлена из черного блестящего хитина, проросшего кое-где редким волосом. Что касается заднего вагона, то он целиком походил не то на огромного мягкого жука, не то на мокрицу с ледяными фасеточными глазами, шевелящую тысячью похожих на водоросли ножек.

Леша сидел в мансарде и курил отвратительную сигарету. Во рту было горько. Он приподнял коньячную бутылку. Она была пуста. Убийство, чтобы быть глубоким и значимым, должно быть ритуальным, почти символическим. Достаточно убить одного.

Внизу мирно спала Эльвира Степановна. Спал дачный поселок. Спало все накрытое тенью ночи пространство.

Леша тщательно раздавил остаток сигареты в пепельнице. Тихо подошел к чулану, выгороженному закутку между стенкой мансарды и крышей. Именно туда он перепрятал ружье. Открыл дверцу, протянул во тьму руку и, стараясь не напороться на торчащие гвозди обрешетки, нащупал двустволку тульского завода. Извлек коробку с патронами, выбрал два, где вместо крупной дробы были свинцовые жаканы. Присел к столу и тщательно зарядил оба ствола. Взвесил ружье рукой. Взвел курки.

Не раз читал он в книгах, как это делается.

С правой ноги он снял башмак. Потом стащил носок. Широко открыв рот, засунул туда оба ствола, почувствовав запах металла и масла. Большим пальцем ноги нащупал спусковые крючки. Секунду или две медлил. Потом дернул ногой.

Сквозь ночную сонь и темь ахнул выстрел. Был он одинарным или двойным, Леша уже не понял.

За неделю до своего шестидесятилетия художник Алексей Леонидович Бируля садился в трамвай. Это был обыкновенный красный трамвай марки «Вагонка Татра», сработанный на Смишовских заводах. Было это на трамвайном кругу в Богородском.

Тяжело взобравшись в салон, он с облегчением опустился на причудливо изогнутую раковину пластмассового сиденья. Бессознательно сел справа в середине вагона. И тотчас в окне увидел ее. Нет, она, конечно, тоже постарела. Но главное – сквозь морщинки кожи, сквозь небрежную одежду все так же изумительно видна была летящая стать ее спортивной фигуры, все так же глаза ее посылали прекрасный озорной сильный свет.

Все соединилось на мгновение – окошко трамвая, ее фигура в полный рост, свет ее глаз. Он смотрел оцепенело. Потом попытался встать. И было встал уже. Ее взгляд скользнул по площади, по нарядным людям, по трамвайному вагону. Преодолевая навалившуюся слабость, он поднялся. Держался за спинку сиденья, чтобы не упасть. Двери вагона закрылись. Трамвай дернулся и пошел. Чуть взывая, он быстро набрал ход, и она исчезла в толпе.

Елена Мунтян

Сон Инес

В конце июня тысяча триста пятьдесят седьмого года королевский двор Португалии приветствовал самую ужасную королеву за всю историю Европы. Придворные, вынужденные присутствовать на церемонии, не могли поверить в то, что это происходит наяву, – настолько случившееся было несовместимо с человеческим существованием – и все же это было реальное событие, с воспоминаниями о котором впоследствии им пришлось жить.

За два с половиной года до этого Инес де Кастро, любовница португальского принца Педро, не могла уснуть в своем дворце, предвкушая радостные перемены в своей судьбе. Дворцом Слез называли при дворе резиденцию Инес в Коимбре; высокие стены этого небольшого поместья спускались прямо к прохладным водам широкой реки Мондегу, и любопытные горожане могли почти каждый день видеть Инес, удрученно сидящую на берегу. Кто-то жалел ее, некоторые посмеивались: не дождется ничего эта гордая кастильская выскочка, разряженная как жена султана!

Сегодня, глядя из окна спальни детей на лес и звезды, Инес шептала:

«Теперь вы увидите, очень скоро все увидите, кто ваша будущая королева; вы, которые смеялись у меня за спиной и вы, которые мерзко улыбались мне в лицо, больше никогда не посмеете произнести презрительное слово «бастард» – коро-

на навсегда решит спор между нами». Она снова и снова возвращалась мыслями к разговору с посланцем от принца, что прискакал к ней во дворец сегодня днем. То, что юный граф по приказу принца Педро сначала заехал к ней и лишь потом направился к королю Афонсо в Алкобасу – было очень хорошим знаком. Впервые Педро поставил свою любовь к ней и детям выше государственных интересов, выше преклонения пред суровым отцом. Слова, переданные графом Барселушем, Инес повторяла про себя весь день и улыбалась, а теперь она, наконец, может произнести их перед окном – эти слова были для нее слаще драгоценных ягод.

«Мой господин, Принц Португалии Педро Первый просил передать тебе вот это, госпожа, – он протянул ей небольшой сверток, завернутый в блестящую материю, – и сказать, что помнит о своей клятве и исполнит ее немедленно, как только Божьей милостью вернется в Коимбру». Немедленно! Дети мои, что спят так спокойно, даже не подозревают, что через несколько дней их будущее изменится, и этого добилась она, их мать. Отныне, мои маленькие Беатрис, Энрикеш, Жоан вас не будет ожидать горькая судьба незаконнорожденных, вы станете инфантами.

Дон Педро передал с графом свое походное расписание, маленький складень слоновой кости, подаренный ему бабушкой; раз он рискнул расстаться с любимой вещью, значит, прибудет очень скоро. Господи, Пресвятая Богородица, Святая Клара, храните отца детей моих в пути и укрепите его в решении сделать нас счастливыми.

Инес знала, что не сможет уснуть в своих покоях, она взяла свечу и направилась в дальние комнаты еще раз посмотреть на наряды, над которыми монашки из монастыря Святой Клары трудились уже несколько месяцев. Шелковые покрывала, невесомые, расшитые серебром рубашки, парчовое облачение принцессы были уже почти закончены. Не хватает маленькой короны, но Инес хорошо представляла, как будет выглядеть корона на ее покрытой голове – сколько раз она, придворная дама, надевала ее на голову жестокой дурнушки Констанс,

первой жены Педро! Перед отъездом принц поклялся ей на этом распятии, что если исход сражения будет успешным и он останется жив, то по возвращении домой публично провозгласит ее, свою любимую Инес, мать его троих детей, своей законной супругой.

Семь лет пустоты и сомнений, семь лет слез теперь станут казаться ей крошечной жертвой во имя детей и будущего. Недаром столько раз она видела во сне Раинью Санту, Святую королеву Изабел, и однажды та сказала: «Потерпи, Инес, твой сын станет великим королем Португалии!» Во сне Изабел приближалась к Инес с фартуком, полным даров. «Что у тебя в фартуке, моя госпожа?». Изабел опускала руки – и Инес видела золотую корону.

...Во дворе послышался шум и повелительные возгласы; Инес увидела в окно как ее слуги с факелами бегут открывать ворота: один за другим въехали несколько всадников в богатом облачении. От счастливого предчувствия у Инес перехватило дыхание: неужели Педро не спал несколько ночей, чтобы доставить ей радость и прибыть домой быстрее?! Она вскочила, рукавом задев дорожную вазу – та разбилась вдребезги.

Три часа дороги от Алкобасы до Коимбры король Португалии и Алгарви Афонсо Четвертый был мрачен и раздражен. Он не разговаривал со своими спутниками, сердясь на них за то, что они все-таки смогли уговорить его предпринять крайне неприятную прогулку. Те тоже молчали и, похоже, немного трусили.

Король снова и снова спрашивал себя: что заставило его уступить многодневным уговорам своих советников и отправиться к этой женщине – не вызвать ее во дворец отвечать на свои вопросы, а самому мчаться в Коимбру, мчаться ночью будто на охоту или к даме сердца. Афонсо злило то, что он знал ответ, но ему совершенно не хотелось признаваться себе в нем: он робел перед этой женщиной. Ни перед маврами, ни перед сыном, ни перед мужланами, которые сейчас хотят уничтожить Инес, а завтра также набросятся на другого или

подадутся служить Кастилии – поступки разных людей он легко определял и действовал всегда спокойно.

Но эта женщина смущала его то ли своим независимым поведением, то ли естественной гордостью манер или еще чем-то, чему Афонсо не мог дать определения – и он избегал Инес.

Сегодня трое советников пришли к нему в страшном возбуждении, говорили перебывая друг друга, пока он не наорал на них и не заставил излагать внятно. «Государь, – сказали они, – нам пришлось допросить графа Барселуша, и он подтвердил то, о чем мы тебя предупреждали последние месяцы. Твой единственный сын, храбрейший принц Португалии дон Педро перед отъездом в Гренаду поклялся своей наложнице, небезызвестной тебе испанке Инес де Кастро, что по возвращении объявит ее своей законной женой. Во дворце де Кастро в Коимбре находятся бумаги, подтверждающие ее преступную переписку с королем Кастилии и Леона и ее братьями, головорезами Кастро.

О коварные псы! Как только эта испанка станет принцессой Португалии, она вызовет своих братьев сюда – и спокойной жизни, государь, нам больше не будет. Неужели ты своими руками позволишь отдать хитрым кастильцам наше будущее, оплаченное твоей и нашей кровью и святой кровью погибших рыцарей? Нужно ехать к ней немедленно, государь, потому что скоро вернется твой сын, ослепленный любовью; он не даст разобраться в этом важном деле спокойно и справедливо».

Афонсо понимал, что его приближенные лукавят, но в чем и по какой причине – было не ясно. Он также понимал, что отчасти они говорят правду, но какова доля правды в их речах...О-ох, какой же сложный клубок намотался за эти годы, угораздило же принца Педро жить так долго с одной женщиной!

Афонсо вспомнил день, когда Инес прибыла ко двору; ее вызвала к себе эта дура, жена принца Педро, принцесса Констанс. Супруга наследного принца была дочерью короля

Кастилии и Леона и перед свадьбой заявила, что желает привезти с собой свиту. В свиту, кроме другой челяди, входили десять придворных дам – «да, в этой деревне никто не знает этикета и не сможет прислуживать мне как подобает!». Среди прибывших придворных дам Инес, возможно, и не была самой красивой, но ее осанка и ее взгляд буквально заворачивали, заставляли всех рыцарей двора долго смотреть ей вслед, на турнирах искать глазами ее платье, на балах наперебой просить у испанки танец. Поговаривали, что Инес – незаконная дочь короля Кастилии, что ее мать была выдана замуж за дворянина де Кастро за месяц до рождения дочери, так что возможно они, Констанс и Инес, были сестрами по отцу.

То, что принц Педро стал сразу оказывать особенные знаки внимания испанке, никого не удивило – его жена была на редкость непривлекательна, вся покрыта какими-то отвратительными прыщами, да и есть ли что-либо более естественное при дворе в мирное время, чем интрижка принца крови с миловидной молодой дамой?

Но Инес проявила дальновидность и отменную выдержку, а возможно – и даже король Афонсу готов был признать это – она была слеплена из какого-то особого теста... Принцу, как, впрочем, и другим влюбленным рыцарям, приходилось довольствоваться лишь вежливыми улыбками; глаза ее и жесты оставались спокойными и величественными. Весь двор ахнул: дон Педро влюбился, дон Педро потерял аппетит и творит страстные безумства, достойные пера дона Хуана Мануэля, испанского инфанта – автора популярных баллад.

В это время самая страшная угроза с юга за всю историю правления Афонсо Четвертого заставила короля и принца во главе войска выступить против многочисленных берберов. Толпы нехристей, пришедшие на помощь эмиру из Северной Африки, сражались как бешеные обезьяны, до сих пор король Афонсо помнит, что от их диких воплей все внутри цепенело.

В первой же битве король был ранен. Он не оставил войско, но следующую атаку пришлось возглавить принцу Педро, и

вот уже принцу были нанесены многочисленные опасные раны. Слава Господу, неподалеку нашли еврейское поселение и тамошние лекари, непревзойденные в древнем искусстве, выхаживали Педро несколько месяцев. Принц долго находился в беспамятстве, он умирал и в бреду беседовал с прекрасным ангелом.

В Алкобасу тогда забрели паломники, шедшие из Святой Земли и сообщили принцессе Констанс, что ее супруг умер от ран. Наверное, тогда и не выдержало сердце гордой Инес де Кастро. Она не подпускала к себе живого весельчака и бабника дона Педро, но полюбила погибшего на поле брани героя, принца Педро Португальского.

Когда они все-таки вернулись с той войны победителями, Констанс, кажется, была еще жива, она умерла зимой следующего года от чумы. Но когда они вернулись, Инес стала другой, ее лицо расцветало при виде принца, которого никто уже не чаял увидеть живым. Затем Педро овдовел и начал строить этот дворец в Коимбре, а его возлюбленная больше не жила при дворе, она ждала его здесь...

Я должен сказать ей сегодня: «Если хочешь, оставайся в Коимбре, благородная Инес, спокойно воспитывай детей, мы дадим им образование и титулы, но забудь о своих притязаниях, если они у тебя имеются: мой сын через два месяца должен жениться на принцессе Арагона. Все». Так будет правильно: из уважения к чувствам сына, из уважения к своим кровным внукам, пусть незаконнорожденным, мы, король Португалии и Алгарви, оказываем тебе честь, Инес де Кастро, и сегодня наносим высочайший визит, повелевая быть благоразумной.

В темноте всадники въехали на древний, еще римской постройки, каменный мост через полноводную Мондегу. Налево дорога вела к Дворцу Слез, направо к монастырю Святой Клары, где уже двадцать лет покоилось тело матери Афонсо Четвертого – королевы Изабел, прозванной еще при жизни Святой Королевой за постоянные благодеяния. «Давно я не был у тебя, – подумал король Афонсо, – да и ты не прихо-

дишь ко мне, матушка. Почему?». Король перекрестился на темный силуэт колокольни и повернул коня налево.

Инес встречала гостей в парадном зале, она казалась спокойной и лишь румянец и крепко сжатые губы выдавали ее волнение – от неожиданности и от досады, что она ошиблась, уже приготовившись встречать мужа. Слуги суетились, зажигая многочисленные факелы и накрывая стол, король осматривал залу, а затем сел на почетное место. Когда слуги удалились, он жестом пригласил Инес сесть подле себя. Трое вельмож, прибывших с ним, остались стоять.

– Мы посетили тебя, Инес де Кастро, чтобы порадоваться вместе с тобой, что наш сын принц Педро Португальский возвращается домой из опасного похода, – начал король.

– Примите мои поздравления, Ваше Величество; мы все еженощно молимся о Вашем здоровье и благополучии Вашего наследника, – вежливо, но сдержанно ответила Инес.

Король помолчал и сделал знак своим спутникам, стоявшим в стороне и старательно смотрящим в пол, чтобы они вышли из комнаты; те удалились, тревожно оглядываясь и позвякивая оружием.

– Но не только ради этого я приехал. Ты знаешь, что я стар, измучен ранами, – «зачем я говорю это?», – с тоской подумал король Афонсо, – «любит ли эта сильная женщина моего сына? Почему я не сделал ее своей любовницей? Кто ее мать, я должен был встречать ее при Кастильском дворе», – одновременно пронеслись совершенно ненужные мысли; король впервые видел Инес так близко, беседовал с ней – и вынужден был признать, что впечатление было сильным.

– Я понимаю, мой господин.

– Понимаешь? Надеюсь. – Давно уже Афонсо не делал пауз в своей речи, чтобы решить, в какой форме донести свою волю до собеседника. «Наверное, я просто ослаб с дороги», – опомнился он, когда обнаружил, что молчит уже долго. Инес сидела неподвижно, каменная она, что ли? Недаром мои высокородные прохвосты так боятся ее. – Собираясь в свой главный путь, к Всевышнему, мы, Король Португалии

и Алгарви Афонсо Четвертый, хотим быть уверены, что наше благословенное королевство перейдет в руки законного наследника нашего принца Педро и его супруги.

Инес ощутила бешеную радость и торжество, но вдруг вспомнила как отец на охоте учил ее и братьев :«чем ближе ты к победе над сильным и благородным зверем, тем более умело должен сдерживаться, обуздай дрожь – и только тогда сможешь вовремя нанести точный удар». Король заговорил тихо и почти скороговоркой:

– А твои дети ни в чем не будут нуждаться, мы им дадим титулы и образование. Ты, если пожелаешь, можешь уйти в самый богатый монастырь.

Инес почувствовала дурноту, будто инородное тело вонзилось ей в голову и мешало понять смысл слов. Она машинально поднесла руки к вискам:

– Но зачем? Почему в монастырь?

– Когда принц Педро через два месяца будет играть свадьбу с принцессой Арагона, при дворе не должно быть никаких перешептываний. Это важно. – «Ага, она все-таки обычная женщина, сейчас случится горестный обморок и визит будет окончен. Оставаться ночевать здесь нам не подобает – может, поехать провести остаток ночи в монастыре Святой Клары? Надо отдохнуть. Какая зеленоватая бледность у нее на лице», – думал король Афонсо уже почти рассеянно и вдруг вздрогнул, услышав звонкий, срывающийся голос Инес:

– Этого не будет, король.

Оставаясь бледной, с горящими глазами Инес встала. Без приказа!

– Сядь, я сказал!

Но Инес продолжала стоять, она наклонилась вперед и смотрела королю прямо в лицо, в руках у нее появился небольшой предмет – резное распятие из слоновой кости; эта вещь показалась Афонсо очень знакомой:

– Говоришь о Господе, но отвергаешь то, что Всевышний дает тебе, так побойся Господа, король Афонсо!

Афонсо не мог понять, что такое он слышит, с ним ли это разговаривают?! Или он заснул? Какая-то... Он инстинктивно схватился за меч, но осекся, сказал твердо и спокойно:

– Веди себя как подобает, женщина. Наш разговор окончен, – он повысил голос и позвал советников: – Эй, где вы там, сюда!

– Нет, король Афонсо, ты договоришь со мной!

– Хватит, дерзкая испанская... Довольно, женщина! Все.

– Знаешь ли о том, что сын твой дал обет перед Всевышним, ты же своей жадностью и глупостью обречешь свой род на проклятие и даже твоя покойная мать...

– Да как ты смеешь, безродная, говорить о королеве, моей святой матери?! Она тебя и в глаза ни разу не видела. Эй, долго буду звать вас, бездельники и трусы!

– Это я-то безродная?! А ты, потомок графа бургундского, считаешь себя выше? Твой законный внук – недоумок инфант Фернандо – покажет миру вашу...

Инес разразилась безумным смехом и хохотала, пока король пытался справиться с сильнейшей вспышкой ярости, которая на мгновение даже лишила его зрения, застилая все вокруг кругами ярко-оранжевого цвета. Тут в дверь протиснулись советники короля. Инес, кажется, их не заметила; она перестала смеяться, сказала тихо и уверенно:

– Кто еще, если не мои сыновья могут удержать Португалию? Изабел тоже так говорила: «Твой сын, Инес, будет один достоин трона!».

Король больше не слушал ее. Полминуты, закрыв лицо руками, он молился, благодаря небо за то, что Господь оставил его руку и не дал совершить убийство глупой сумасшедшей, которая вообразила, что каким-то образом общается с его покойной матерью. Почти успокоившись, он встал и произнес, обращаясь к спутникам:

– Я переночую в монастыре Святой Клары. Со мной отправятся только оруженосцы. Вы отсюда езжайте сразу в Алкобасу. Это правда, Кастилия не дает нам покоя: ваш долг позаботиться о безопасности нашей святой страны.

Король Афонсу вышел.

Когда спустя семь дней принц Педро вернулся в Алкобасу, ему сообщили, что Инес де Кастро была найдена во Дворце Слез с несколькими ножевыми ранами на шее и груди. Дети были отданы на воспитание в монастыри Коимбры и Алкобасы. При дворе нашлись вельможи, тайно уговаривавшие принца выступить с преданной ему частью войска против отца; дон Педро несколько дней размышлял, но в конце концов дал советчикам жесткую отповедь и нашел в себе силы приступить к выяснению обстоятельств трагедии. Тогда трое из свиты короля Афонсу исчезли из Алькобасы – поговаривали, что они бежали в Кастилию. Педро заявил отцу, что о свадьбе с принцессой Арагонской не может быть и речи и отправился пешком на гору Монсеррат.

После того как принц ушел в паломничество, взяв с собой лишь оруженосцев, король занемог, и уже больше не вставал с постели. Единственное, о чем мечтал Афонсу Четвертый – дожить до возвращения сына и попросить у него прощения.

Принц Педро вернулся в Алькобасу на исходе марта. Непрестанно дул холодный ветер с океана и родные места показались принцу покрытыми мутным покрывалом горя и безысходности. Король был еще жив, но уже два месяца ни с кем не разговаривал. Отрешенно принц подошел к постели отца, перекрестил его – и больше не появлялся в его покоях, удалившись в Коимбру, во Дворец Слез. Через две недели за ним послали...

Был провозглашен новый король Португалии и Алгарви – Педро Первый. Коронация проводилась по всем правилам, но без пышности и традиционных праздничных мероприятий. Почти никто при дворе не мог похвастаться тем, что он общался с королем Педро – кроме графа Барселуша; с ним король обсуждал дела королевства и через графа доводил свои решения до представителей кортесов и придворных.

Было приказано, в частности, объявить о помиловании всех преступников, в том числе тех, кто бежал от правосудия из страны. Стали возвращаться мелкопоместные дворяне, скрывающиеся от воинского долга, слуги, уличенные в воров-

стве, целые семьи «мориско» – мусульман, желавших жить на земле Португалии.

Из тех троих вельмож, что видели Инес в ее последние мгновения, двое также вернулись из Кастилии в свои замки; но они были немедленно схвачены и ждали решения своей судьбы в королевской тюрьме, в особых камерах.

В начале июня на площадях Алькобасы, Коимбры, Лейрии и Лиссабона был оглашен приказ короля Педро Первого. В середине месяца объявлялась казнь двух государственных преступников; в конце июня – коронация новой королевы Португалии и Алгарви. По сему поводу предписывалось всей знати, дворянам и их семьям, а также высшему духовенству прибыть ко двору. Тем летом во дворце, в гостевых покоях цистерианского монастыря Санта Мария, в окрестных замках Алькобасы собралось почти двести человек, не считая сопровождающих, число которых доходило до трех сотен.

Прослышав о невиданном способе казни, задуманном королем Педро для убийц Инес, некоторые рыцари дошли до унижения, придя к королю с просьбой освободить их жен и детей от отвратительного зрелища – тем более что вельможные преступники являлись родственниками некоторым из них. В делегации рыцарей были те, кто воспитывал Педро и многие из них делили с ним тяготы войн.

Но король сначала вообще отказал в аудиенции, а когда, благодаря настойчивой просьбе графа Барселуша принял мужей, вел себя крайне странно: сперва слушал их рассеянно, затем бормотал что-то невразумительное и наконец разразился бранью и прогнал своих соратников, выкрикивая: «Где вы были, когда она мучилась? Я заставлю вас всех поклониться ее величию». Расстроенные вельможи, обсуждая неудавшийся визит, пришли к общему мнению, что король не в себе – надо посоветоваться с церковниками или даже с колдунами – как привести его в чувство.

О самом действе казни все присутствовавшие там постарались скорее забыть: такого изощренного мучительства, невиданного в Европе, не смогли вынести даже нервы палача,

дамы же, прятавшие детей за спины и в юбках, несколько дней не могли прийти в себя, в Алькобасе началась эпидемия нервных припадков. Всем не давал покоя вопрос: что еще приготовил полубезумный король своим подданным, к чему готовятся отряды воинов, снующие между Коимброй и королевским дворцом в Алькобасе?

Рано утром двадцать пятого июня от королевского дворца в Коимбру торжественно двинулся парадный кортеж, за ним ехали придворные с семьями и духовенство. В Коимбре процессия расположилась на площади перед собором. «Что там, вы не знаете? Что за церемония готовится? Нет, мне так и не удалось узнать. А вам?». Через открытые резные двери было заметно, что собор убран с чрезвычайной пышностью и путь внутрь, охраняемый десятками стражников, устлан самыми дорогими коврами. В глубине что-то сияло и сверкало... Наконец в сопровождении оруженосцев показались всадники – король Педро и граф Барселуш. Король подъехал к самым воротам собора и сделал знак, что будет говорить. Пажи протрубили торжественный сигнал.

– Благородные дамы и доблестные рыцари! Ваше Святейшество, духовные отцы! Мы, правитель Португалии и Алгарви Педро Первый вместе с вами, верные подданные королевства, сегодня празднуем самую большую победу своей жизни – обретение великой королевы. Радуйтесь отныне, ибо теперь ваш король не будет один! А сейчас согласно закону, вы, присягнувшие мне, вашему правителю, присягните же вашей королеве.

Король спешил, за ним и граф Барселуш, вдвоем они под звуки трубы, прошли в собор, освещенный десятками факелов. Придворные по очереди согласно своему положению, последовали за ними. В глубине, у алтаря на возвышении утопал в живых цветах небольшой трон, а на нем было что-то непонятное, завернутое в золотую парчу.

Король подошел к трону, опустился на колени и поцеловал сначала край материи, а затем... поцеловал руку мумии,

сморщенные сухие пальцы которой виднелись из рукава. Встал, обернулся к отпрянувшей в ужасе толпе и громогласно произнес: «Сегодня провозглашаем тебя, Инес де Кастро, именем Всевышнего и именем закона нашей страны, королевой Португалии и Алгарви!».

При этих словах церемонимейстер три раза ударил жезлом об пол и произнес традиционный текст, начинающий церемонию коронации. Одновременно запели хоры и закричали слабонервные дамы. Граф Барселуш, которому было, конечно, легче других – ведь он заранее знал, что будет происходить – подошел к сидящей на троне, поклонился и встав на колено, поцеловал королеве пальцы, а затем тихо произнес слова клятвы.

Затем граф отошел и встал рядом с королем, лицо его было непроницаемо; теперь должны были поочередно подходить остальные, но люди оцепенели, не в силах поверить в происходящее, в ужасе и смятении они не могли оторвать глаз от того места, где красовалась корона Португалии.

Пожилой настоятель цистерианского монастыря Алкобасы страшно побледнел и одной рукой непрерывно крестился, а другой держался за нагрудный крест, но вдруг услышал роковые слова, произнесенные королем: «Святой отец, Ваша очередь, подойдите!».

Придворные, вынужденные присутствовать на церемонии, хотели бы забыть свои ощущения, поверить в то, что это был лишь кошмарный сон, несовместимый с человеческим существованием; но это было реальное событие, с воспоминаниями о котором впоследствии им пришлось мириться.

...Педро Первый прозванный Суровым после этого жил и правил два года; он посвятил их долгим беседам с женой, которая после церемонии коронации была заново погребена в соборе Алкобасы, и совещаниям с французскими мастерами, обсуждая проекты мраморных гробниц для себя и своей королевы.

После смерти Педро на престол взошел инфант Фернандо, сын короля от брака с Констанс. Фернандо Первый и его су-

пруга королева Леонор правили больше двадцати лет. После смерти Фернандо его вдова под влиянием своего любовника графа Оурена начала постепенно отдавать земли Португалии королю Кастилии и Леона Хуану Первому, что создало реальную опасность потери национальной независимости.

Шестого декабря тысяча триста восемьдесят третьего года в Лиссабоне вспыхнуло восстание; спасителем государства был назван гроссмейстер Авишского ордена, Жоан по прозвищу Бастард, младший сын Педро Первого и Инес де Кастро. Когда Бастард убил графа Оурена, королева Леонор отреклась от португальского престола, передав его в руки кастильского короля; войска Хуана Первого немедленно вошли в Португалию.

Но многие города, в том числе Порту, Коимбра, Бежа, а особенно Лиссабон оборонялись с невиданной стойкостью и четырнадцатого августа тысяча триста восемьдесят пятого года португальские войска во главе с доблестной кавалерией рыцарей – фидалгу – нанесли поражение кастильцам в битве при Алжубарроте.

Кортесы Коимбры провозгласили Бастарда королем Португалии под именем Жоана Первого Авишского. Началась эпоха правления Авишской королевской династии, счастливое время мирного развития и процветания Португалии.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Владимир Спектор

«Откуда вы приходите, слова?»

Владимир Даль. Страницы жизни

Мальчик с улицы Английской

Тысяча восемьсот первый год. XIX век еще только на пороге. Двухлетний Пушкин пока не догадывается о своей гениальности, а Европа вступает в новое столетие, не ведая о том, что его первые годы будут омрачены наполеоновскими войнами, одним из следствий которых станет вольнодумство и мятежный дух русских офицеров. Впрочем, империя поколеблена не будет, и все затмит расцвет русской поэзии, чей блеск сравним разве что с роскошью императорского двора.

Да и вся литература русская обретает в этом веке свою мощь и славу, а язык получает эпитеты: великий и могучий. Все это случится позже и при непосредственном участии мальчика, родившегося тогда в провинциальном Луганске в семье городского доктора, проживающего на улице Английской. Имя мальчика – Владимир Даль.

Даль недолго прожил в Луганске, всего четыре года. Но память о городе, ставшем его родиной, оказалась сильной и трепетной, отразившись в его литературном имени – Казак Луганский, в его любви к Украине и к двум славянским языкам: русскому и украинскому.

Луганск, издавна славящийся своей промышленностью и наукой, а также национальной и языковой терпимостью, всегда был и остается, хоть и провинциальным, но центром культуры, особенно литературы.

Даль, Матусовский, Титов, Беспощадный, Пляцковский, все это история. Но и сегодня в Луганске живут замечательные поэты и прозаики, здесь расположен центр Межрегионального Союза писателей Украины. А такие писатели, как Василий Голобородько, Валерий Полуйко, Владимир Гринчуков, Николай Малахута известны далеко за пределами своей страны.

И, все же, Даль – самый знаменитый луганчанин, гордость не только литераторов, но и всей луганской земли.

Однако проведенный недавно опрос показал, что не все наши современники способны отчетливо сказать, кем был их великий земляк.

Трудно осуждать при нынешней жизни людей за их невнимание и забывчивость. Впрочем, за литературу, за державу, как говорил герой фильма, обидно.

Ведь Владимир Иванович Даль был человек выдающийся и уникальный во всех отношениях. Честность, правдивость, совестливость, доброта, справедливость – согласитесь, в одном человеке эти качества сочетаются довольно редко. Ну, а если добавить еще его блестящие способности: владение профессиями врача, моряка, инженера, писателя, гомеопата, лексикографа, автора учебников по ботанике и зоологии, музыканта, трудно поверить в правдивость такого перечисления, и, тем не менее, все это – Владимир Даль, «человек бывалый», как назвал его Белинский, и «талант самостоятельный».

В подтверждение этим словам можно вспомнить пример из его жизни. Уже будучи врачом, он участвовал в польской кампании, командуя полковым лазаретом. Когда понадобилось форсировать реку, выяснилось, что инженера в части нет, и построить понтонный мост некому.

Даль, в прошлом военный моряк, вызвался это сделать и построил мост в кратчайший срок, используя пустые винные бочки, лодки, бревна, скрепленные между собой тросом.

Часть переправилась. Но вот разрушить мост до подхода неприятеля Даль с подчиненными не успел. Он встретил поляков на мосту, повел их по нему, и, дойдя до середины, спрыгнул в приготовленную лодку, а трос, связывавший мост, разрубил несколькими ударами топора.

Понтон был разрушен – Даль под неприятельскими выстрелами благополучно добрался до противоположного берега. И... был за этот геройский поступок наказан. За что? За то, что оставил лазарет на попечение своего помощника. И все же, справедливость восторжествовала. Впоследствии он был награжден орденом. А его брошюра о столь необычном способе сооружения мостов была переведена на французский язык.

Но главным делом жизни Владимира Даля стало составление толкового словаря русского языка. Что интересно, на Луганщине, жил и составитель словаря украинского языка Борис Гринченко, который вместе с Далем составляет как бы два крыла славянской словесности.

...В восемьдесят шестом году на тихой и уютной улице, носящей имя великого земляка, а до того бывшей Английской и Юного Спартака, в домике, где жила семья доктора Ивана Христиановича Даля, открылся литературный музей Владимира Даля.

Только единицы способны начать все с нуля

Каким мы знаем Даля? Канонизированный старик с длинными волосами и бородой, в одной руке словарь, в другой – перо, и задумчивый взгляд, в котором читаются все те десятки тысяч слов, которые он описал и систематизировал.

Но ведь это был живой человек, судьба которого неотъемлема от своего времени. Впрочем, и от нашего. И жизнь его была далека от идиллии, зависть и недоброжелательство, доносы, сплетни, людская несправедливость – все это было знакомо ему не понаслышке.

Вообще, честность, правдивость, бескомпромиссность были в роду Далея семейными качествами. Отец, будучи док-

тором литейного завода, писал смелые и человеколюбивые рапорты, требуя улучшить условия жизни заводских рабочих. Не знаем, мечтал ли юный Владимир о карьере врача, но, получив хорошее домашнее образование в Николаеве, где семья жила после отъезда из Луганска, он поступил в Петербургский морской кадетский корпус. Кстати, уже там он начал записывать слова, давая им свои объяснения. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.» Справедливость этой поговорки подтверждают кадетские друзья Даля – будущий адмирал Нахимов и будущий декабрист Завалишин.

В марте девятнадцатого года мичман Даль прибыл для прохождения службы в Николаев на фрегат «Флора» Черноморского флота.

Страсть к собиранию слов, остроумие, а также первые драматические опыты вызывали у начальства раздражение и подозрительное отношение к молодому офицеру, отлично знавшему не только французский язык, но и простонародный с его шутками и прибаутками.

Потому, вероятно, ему было приписано авторство пасквиля, ставшего причиной ареста, разжалования на шесть месяцев в матросы и последующего перевода на службу в Кронштадт.

Там Даль подает в отставку, и пойдя по стопам отца, успешно сдает экзамены на медицинский факультет Дерптского университета.

Говорят, только единицы способны начать все с нуля. Сильный характер Даля помог ему изменить ход жизни, словно открыв в ней новую страницу.

В Дерпте он обрел новых замечательных друзей – поэтов Николая Языкова и Василия Жуковского, а также будущего основателя полевой хирургии Николая Пирогова.

Вот как Пирогов вспоминал свое первое знакомство с Далем: «Однажды, вскоре после нашего приезда в Дерпт, мы слышим у нашего окна с улицы какие-то странные, но незнакомые звуки, русская песнь на каком-то инструменте.

Смотрим – стоит студент в вицмундире; всунул голову через окно в комнату, держит что-то во рту и играет: “Здравствуй, милая, хорошая моя”, не обращая на нас, пришедших в комнату из любопытства, никакого внимания. Инструмент оказался губной гармошкой, а виртуоз – Владимиром Далем, он действительно играл отлично. Это был человек, что называется, на все руки. За что ни брался Даль, все ему удавалось освоить».

О способностях Владимира Ивановича можно рассказывать много, но мы вспомним лишь о том, что во время учебы в университете он был награжден серебряной медалью за успехи в решении сложных математических задач. Да и то, что ему досрочно разрешили защищать дипломную диссертацию и получить звание доктора, говорит о многом.

Из университетских аудиторий молодой доктор отправился на фронт. В русско-турецкой кампании он участвовал в осаде крепостей Сливно и Силистрия, в переходе через Балканы. Ну, а о его подвиге во время польского похода мы уже говорили.

Ни на один день не расставался Даль со своим заветным блокнотом, куда постоянно записывал все новые и новые слова.

После окончания военных действий Владимир Иванович недолгое время заведовал лазаретом в Умани, а затем был переведен в Петербург, в военно-сухопутный госпиталь. Он успевал лечить больных, совершенствоваться в гомеопатии, которой придавал большое значение, и заниматься литературой.

Наконец, в тридцать втором году – вышла его первая книга «Русские сказки. Пяток первый», подписанная псевдонимом «Казак Луганский».

Именно это имя принесло славу Владимиру Далю и осталось навсегда в истории литературы и культуры.

Кстати, без несправедливости не обошлось и тут. Уже на второй день после выхода в свет тираж книги был конфискован, а автор арестован прямо во время больничного обхода.

Статс-секретарю Мордвинову и шефу жандармов Бенкендорфу показался подозрительным сам дух книги, а в народном языке они увидели насмешку над правительством.

Лишь вмешательство Жуковского спасло Даля от сурового и незаслуженного наказания. И именно Жуковскому мы благодарны за то, что литературная карьера Даля продолжилась. Правда, теперь уже в Оренбурге, куда он по собственной просьбе был переведен.

Откуда вы приходите, слова?

*Откуда вы приходите, слова,
Исполненные доброго доверья?
Наверное, оттуда, где трава,
Наверное, оттуда, где деревья.*

Слова к Далю приходили из жизни. Еще будучи мичманом, по дороге в Николаев, к месту службы, услышал он от ямщика: «Замолаживает», то есть, холодает. И это стало первым словом в его записной книжке, ставшей его спутницей на всю жизнь. Даже во время боевых походов он каждый день узнавал и записывал множество новых для себя слов. В обозе за ним шел верблюд, нагруженный сундуками с записями.

Офицер, врач становился литератором, собирателем слов, словно подтверждая мысль о том, что смысл жизни – в максимальной самореализации.

Оренбург. Центр Оренбургского казачьего войска, столица южного Урала, город, находящийся невядалеке от границ с Башкирией и Казахстаном. Здесь, на одной из окраин Российской империи, Даль провел восемь лет, насыщенных работой, литературным творчеством, путешествиями, изысканиями в этнографии и лексике.

«Справедливый Даль», как называли его местные жители, служил чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Перовском.

Впоследствии брат генерал-губернатора граф Перовский станет министром внутренних дел России, а Владимир Даль – его первым помощником. А еще позже дочь Перовского Софья будет повешена за покушение на Александра Второго. Но все это будет позже. А пока...

Честный, порядочный и справедливый Даль, вкладывал все свои силы, душу, талант в государеву службу, пытаясь улучшить жизнь оренбургских крестьян и казаков, создавая зоологический музей, составляя учебники по ботанике и зоологии, участвуя в проектировании и строительстве моста через реку Урал. И при этом не забывал он о творчестве и научных изысканиях.

Его громадный вклад в развитие этнографии, лексики, языка народов и народностей края и всей России получил высокое признание.

В тридцать девятом году коллежский асессор Даль стал членом-корреспондентом Императорской академии наук.

«...Жизнь дана на радость, но ее надо уметь отстоять, поэтому истинное назначение человека – борьба за правду и справедливость, борьба со всем, что лишает людской радости.

Всякая несправедливость казалась мне дневным разбоем, и я всячески выступал против нее...»

Эти слова Владимира Даля актуальны и сегодня.

Да, он писал много и плодотворно. Повести и рассказы Казака Луганского охотно печатали лучшие журналы того времени. «Бикей и Мауляна», «Майна», «Башкирская русалка», «Уральский казак», «Осколок льда» – в этих произведениях быт и нравы народов Оренбургского края предстают перед читателем ярко и достоверно, образно и правдиво.

Каким трудолюбием и работоспособностью надо было обладать, чтобы так удачно сочетать изнурительную службу, занятия наукой и литературное творчество!

Грани личности Даля просматриваются в биографических повестях, которые он начал писать в Оренбурге – «Мичман Поцелуев» и «Вакх Сидоров Чайкин».

При всей своей загруженности и увлеченности делами и творчеством. Владимир Иванович, оставаясь абсолютно свет-

ским человеком, не забывал о житейских радостях, которые, как водится, чередовались с горестями.

Именно в Оренбурге появились на свет дети: Лев и Юлия. Но здесь же он потерял жену, бывшую ему надежным другом и опорой...

Однако жизнь брала свое. Именно здесь он женился вторично на дочери героя Отечественной войны двенадцатого года Екатерине Соколовой.

Приехав начинающим литератором, Даль, прожив в Оренбурге восемь насыщенных событиями лет, возвращался в Петербург известным писателем и этнографом, академиком, чей авторитет и репутация были бесспорны.

Столичный блеск

Петербург во все времена был культурным, духовным центром, своеобразной интеллектуальной Меккой. Не стали исключением и сороковые годы XIX века.

И хоть ушли Пушкин и Лермонтов, оставались Гоголь и Герцен, Панаев, Сологуб, Майков, Тургенев... И Даль, Казак Луганский, о котором в литературном обозрении неподкупный Виссарион Белинский писал: «После Гоголя это решительно первый талант в русской литературе».

Около девяти лет, вплоть до июля сорок девятого года, этот талант обитал в Петербурге, работая начальником особой канцелярии министерства внутренних дел России по приглашению Льва Перовского.

«Даль был, бесспорно, первый человек в министерстве и по безусловному доверию министра, и по безупречной нравственности, и по хорошей известности в мире науки, литературы, искусства», – так писал о Дале один из его современников.

Никогда в истории России, ни до того, ни после, блестящий писатель не занимал столь высокий пост в одном из самых важных министерств.

Государственная служба, литература, наука – время жизни расходовалось интенсивно и на редкость плодотворно.

Кроме повестей и сказок на русском языке выходят сказки и на украинском в альманахах «Ластивка» и «Венок русинам на обжинки». Он работает над учебниками «Зоология» и «Ботаника» для высших учебных заведений.

Но главной его заботой продолжает оставаться сбор материалов и подготовка к изданию толкового словаря русского языка. Высокая должность давала ему возможность получить словарные материалы из всех российских губерний. Десятки тысяч слов готовы были занять место в уникальном словаре.

Напряженная работа продолжалась и дома. Но раз в неделю, по четвергам, квартира Даля собирала известнейших людей Петербурга того времени.

Знаменитый врач Николай Пирогов, натуралист Карл Бэр, мореплаватели и географы Федор Литке и Фердинанд Врангель, известные артисты, писатели, художники, музыканты, друзья и единомышленники – все с удовольствием собирались на «далевские четверги», отмечая теплоту и сердечность их атмосферы.

«Все повиднее и посolidнее из Петербургского и приезжих миров обыкновенно зааживало к Далю», – это слова Василия Лазаревского, и они свидетельствуют о популярности встреч, оставивших, кстати, след не только в памяти участников, но и в истории науки.

Ведь именно здесь, на одном из четвергов, возникла мысль создать «русское географическое общество».

Самобытный талант

На одном из «четвергов» Даль познакомился с юным слушателем Императорской академии художеств Тарасом Шевченко, и на протяжении всей жизни оказывал поддержку великому Кобзарю.

В своем письме из Орска, куда Шевченко был выслан за бунтарские стихи, он писал: «Як побачитеся з Далем, то, покловившись йому від мене, попросить, щоб він ублагав Перовсь-

кого визволити мене хоч з казарм (Хоч випросив дозволеніє малювати). Даль людина добра, розумна, він допоможе».

Не в силах Даля было освобождение опального поэта. Но первое, что он сделал – из своих небольших сбережений выслал Тарасу двадцать пять тысяч рублей серебром и книги.

Дважды в петербургский период жизни Владимир Иванович совершал поездки на Украину. До Луганска, к сожалению, не добирался. Но воздух родины, по его словам, был целительным и вдохновляющим.

Сороковые годы стали вершиной творчества Даля. «Современник», «Москвитянин», «Отечественные записки», «Телеграф» – все эти журналы считали за честь печатать его произведения.

Вот что писал о нем Белинский: «Вглядываясь в произведения самобытного таланта, всегда находишь в нем признаки глубоких знаний. Он делает предмет изложения доступным и ясным, рождает к нему симпатию и охоту знать его. К числу таких талантов принадлежит талант господина Даля, прославившегося в нашей литературе под именем Казака Луганского. Господин Даль – живая статистика русского народонаселения. Многие его рассказы очень занимательны, легко читаются и незаметно обогащают нас житейскими знаниями. Их можно не только читать, но и перечитывать, и каждый раз они будут казаться все лучше и лучше».

Перлами русской литературы называл великий критик физиологические очерки и повести Даля. Но не все разделяли это мнение. Напечатанная в сорок восьмом году в «Москвитянине» повесть «Ворожейка» была представлена царю, как вселяющая в публику неверие и ересь. Начальству было предложено сделать Далю замечание, а цензору – выговор.

Но выговор был сделан автору. «Служить – так не писать. А писать – так не служить».

Вскоре Владимир Иванович задул свечу последнего «четверга». Но оставаться без службы он не мог. Нужно было содержать семью. И чтобы избежать конфликта и спасти дело всей жизни, Даль попросился на периферию.

Седьмого июня сорок девятого года его просьба была удовлетворена. Он получил назначение на должность управляющего удельной конторой в Нижнем Новгороде.

Не слыть, а быть!

Нижний Новгород, так же, как Луганск, является одним из нескольких городов в мире, где двухсотлетие со дня рождения Даля было отпраздновано с особым трепетом.

Именно здесь, на волжских берегах, прошли десять лет жизни Владимира Даля, наполненных напряженной работой над словарем, сборником пословиц и ежедневной изматывающей службой, на которой он всеми силами боролся с несправедливостью, злоупотреблениями, пытаясь помочь и городским обывателям, и крепостным крестьянам.

Это был уникальный чиновник, заботливый и не берущий взятки. Ах, как сегодня не хватает таких, как Вы, Владимир Иванович!

«Не слыть, а быть!» – свой девиз он подтверждал ежедневным трудом, в котором не существовало мелочей. А кроме работы жизнь дарила творчество и дружбу. Радовали растущие дети, волновали семейные заботы.

В Нижнем Новгороде он еще несколько раз встречался с Тарасом Шевченко, который после ссылки некоторое время жил в этом городе. Здесь же, в конторе, под началом Даля служил начинающий в то время русский писатель Андрей Мельников, прославившийся в дальнейшем под псевдонимом Мельников-Печерский и ставший первым биографом Казака Луганского.

Даль старался совместить несовместимое: работу над словарем и хлопотную, неблагодарную царскую службу. Его прямодушие, честность, порядочность и справедливость не позволяли мириться с окружавшим его злом и беззаконием. Ответом на одну из его докладных записок стало строгое замечание в его же адрес! Не колеблясь, Даль подал в отставку.

При этом он написал генерал-губернатору письмо, которое и сегодня служит образцом смелости и гражданствен-

ности, при всей изысканности стиля является уникальным документом, осуждающим вседозволенность чиновничье-полицейского аппарата самоуправления.

В октябре пятьдесят девятого года Даль со своей семьей переехал в Москву, где поселился в доме на Большой Грузинской улице. В этом счастливом доме, как впоследствии назовет его Владимир Иванович, он воплотил мечту всей своей жизни: «пустил корабль на воду» – издал «Толковый словарь живого великорусского языка», сделавший имя автора бессмертным.

Великий труженик, благородный борец за правду и справедливость, он нашел их в народной мудрости. И правда Даля вечна, как эта мудрость.

Интересно, что в год издания словаря Даля, будущему автору «Словаря Украинского языка» Борису Гринченко исполнилось четыре года. Наверное, это знаменательно, что авторы словарей – русского и украинского родились именно на луганской земле.

Гении живут вечно

В жизни всегда есть место подвигу и благородству. Академик Погодин, современник Даля в письме в Академию Наук писал: «Отныне российская Академия немыслима без Даля. Предлагаю всем нам, академикам, бросить жребий, кому добровольно уйти из Академии и уступить свое место Далю».

Казак Луганский был единогласно избран почетным академиком с вручением Ломоносовской премии. А Географическое общество наградило его золотой медалью.

Владимир Иванович продолжал работу над словарем и после его выхода в свет, постепенно увеличив объем издания почти в полтора раза.

Но здоровье человеческое чутко реагирует на перегрузки и нервотрепку, на несправедливость. Осенью семьдесят первого года с ним случился первый легкий апоплексический удар. А через год, в сентябре семьдесят второго года Влади-

мир Иванович Даль, Казак Луганский, скончался, оставив после себя бессмертное наследие.

К его могиле на Ваганьковском кладбище и сегодня приходят любители русской словесности...

Даля помнят во всем мире. Не зря ведь две тысячи первый год был назван годом Даля. Но особенно чтят его память в Луганске. Ежегодные далевские чтения, регулярно проводимые «четверги», собирающие в музее его имени творческую интеллигенцию – все это характерные черты культурной жизни города над Луганью, гордящегося своим великим земляком.

До последних дней своей жизни работал над изысканиями о Дале и его творчестве врач и писатель Юрий Алексеевич Ененко, издавший замечательную книгу «Слово о Дале» и бывший одним из инициаторов возведения в Луганске памятника великому создателю Словаря.

Медалью Даля награжден Юрий Фисенко, чья монография о Казаке Луганском признана одной из лучших в мире.

Улица Даля в Луганске пересекается с улицей Пушкина. Все как в жизни, в которой судьбы двух литературных исполинов переплелись тесно и прихотливо, так, что даже последние слова великого поэта были обращены именно к Далю.

Их было много, встреч. Но три из них, «каменищи», как называл их Владимир Иванович, навсегда остались и в его сердце, и в истории.

Первая из них состоялась в Петербурге в тридцать втором году. Даль подарил тогда поэту свою книгу сказок, о которых Пушкин отзывался с восхищением.

Вторая встреча произошла в Оренбурге, куда Александр Сергеевич приезжал осенью тридцать третьего года собирать материалы к будущему историческому роману о Пугачеве.

Многое успели обсудить друзья в те пять незабываемых дней. Кстати, именно Пушкин посоветовал Далю заняться составлением Словаря.

И, наконец, последняя, третья, петербургская встреча. Даль был со смертельно раненым поэтом вплоть до его последнего дыхания...

Гении рождаются редко, но живут вечно. Гений Даля помог осознать все богатство и величие языка, на котором творили Пушкин и Лермонтов, Толстой и Достоевский, Чехов и Казак Луганский. Языка, на котором говорили жители одной шестой части земли. Языка, близкого всему славянскому миру.

Однако, Даль, имя которого так высоко чтят всюду, прекрасно знал и ценил еще один славянский язык – украинский. Язык, на котором писали Шевченко и Франко, Марко Вовчок и Гринченко, чей словарь украинского языка, как побратим словаря Даля, стоит фундаментом современной славянской, а, значит, и мировой культуры, без которой невозможен никакой прогресс.

Ведь сказано: «В начале было Слово». Слово Даля есть и будет. И в этом залог того, что грядущие поколения будут говорить его языком. А Словарь, словно эстафетный факел, будет сопровождать человечество по его бесконечной дороге жизни.

Тамара Жирмунская

«Что отдал – то твоё...»

– Вы не родственница?

– Вы не дочь?

– Вы имеете какое-нибудь отношение к Виктору Максимовичу?*

Эти вопросы я слышала много раз. Приходилось разочаровывать, объясняя, что с двоюродным братом отца я даже не знакома.

Но вот у меня вышла первая книга стихов, и мой муж, Павел Сиркес, молодой филолог, предложил съездить в Ленинград, подарить книгу моему прославленному родственнику. Пусть у нас будет такое свадебное путешествие...

Лето шестьдесят третьего года. Дачное Комарово. Ищем Кудринскую улицу. Идем в указанном направлении, утопая в сером песке, под северными соснами. Хозяин знает о нашем приезде – мы заранее созвонились.

Встречают нас необычайно радушно: дядя, его жена, Сигал-Жирмунская Нина Александровна – переводчик, литературовед, специалист по французской литературе; его родная сестра, приехавшая погостить из Италии, две его дочери, Вера и Аля, подростки.

* 2 августа 2011 года – 120 лет со дня рождения известного ученого, литературоведа, лингвиста, академика Виктора Максимовича Жирмунского – *Ред.*

– Так мы с вами, оказывается, в родстве? – внимательно смотрит он сквозь близорукие стекла очков. – Меня уже спрашивали, кем мне доводится поэтесса. А я не знал...

С этого началось наше общение, длившееся более семи лет.

Виктор Максимович Жирмунский, ученый–энциклопедист, олицетворял для меня целую культурную эпоху. Он вызвал интерес у Блока: сохранился дарственный экземпляр дядиной книги «Немецкий романтизм и современная мистика» четырнадцатого года издания с многочисленными пометками поэта; известны письма Блока к нему. Он дружил с Ахматовой. Учился вместе с Мандельштамом в Тенишевском училище и первый написал о нем...

О широте его профессиональных интересов можно судить по отрывкам из сохранившихся у меня писем: «... был в научной командировке в Берлине, откуда вернулся только три дня назад. В двадцатых числах октября мне предстоит поездка в Тбилиси»; «Я только что вернулся из Польши, где принимал участие в очень интересной конференции по вопросам теории стиха. Выступал с докладом о стихосложении Маяковского»; «... еду на десять дней в Белград как глава советской делегации на Международный конгресс по сравнительному литературоведению. Буду читать доклад – на этот раз на французском языке»; «... уезжал вместе с Н.А. (*женой Ниной Александровной*, – Т.Ж.) в Прагу на Международный съезд славистов(...) Читал доклад о подготовленном мною Собрании стихотворений Анны Ахматовой, который собрал большую аудиторию и имел успех...»

Удивительно, какую активную жизнь вел этот грузный с виду, рыхловатый на петербургский лад человек не в расцвете сил – на восьмом десятке!

Знал он и лихие времена, лет за четырнадцать до нашего знакомства. Ленинградский переводчик, бывший тогда студентом, рассказывал мне, как прорабатывали «космополита» Жирмунского на университетском собрании.

– И что же он?

– Признал некоторые свои ошибки, но держался так, что нам, юнцам, было стыдно за тех, кто принудил его к этому.

Двадцать семь лет ученого с мировым именем продержали в звании члена–корреспондента Академии Наук – рекорд, достойный Книги Гиннесса. Только в шестьдесят шестом году был он избран, наконец, академиком.

Но вернемся на два года назад. Теплый май, для меня полный надежд: я жду ребенка, готовлю к печати вторую книгу стихов. Приехавший в Москву Виктор Максимович пригласил меня на вечер Анны Ахматовой в музей–квартиру Маяковского, в старое здание, что в Гендриковом переулке. Прошлым летом я была у Анны Андреевны, и она стоит у меня перед глазами: большая, особенно на фоне приземистой литфондовой дачки, которую она называет «будкой», по–своему красивая, с тяжелыми седыми волосами, с неистребимо восточным, веским, мгновенно улыбчивым, хотя и старым лицом.

На вечере она не присутствует – видимо, нездорова. Запомнившийся мне сочный, даже в нижних регистрах, голос заменяет подсушенная магнитофонная запись. Виктор Максимович, Арсений Тарковский, Лев Озеров говорят об Ахматовой как о крупнейшем русском поэте. Три доблестных мужа выстрадали право касаться вечно живых ран старшей сестры...

Контрастом звучит чтение ее стихов юными исполнительницами. Страстей – половодье, а вот ахматовской силы духа не хватает. Чтобы сказать так, как она написала, надо пережить хоть малую часть того, что пережила она...

Обсуждая все это, идем с дядей ... в ресторан «Националь». Я заказываю киевскую котлету, и он менторски поднимает палец:

– Будьте осмотрительны! Все мои дамы... – ах, у него и дамы были?

– ... котлетой де’воляй пачкали себе платья.

Интересуется взошедшей недавно на небосклоне русской советской поэзии плеядой молодых поэтов. Радует неожиданному взрыву лиричности. Расспрашивает меня об Ахмадулиной, Мориц, Вознесенском и других моих коллегах. С

ним меня разделяют сорок пять лет, но я не чувствую этой разницы. Может, преклонный возраст – удел одряхлевших сердцем, фанатов и равнодушных, а все, кто сохранил душу живую, открытое сознание, – ровесники молодым?..

...Прошло полтора года, мы обменялись несколькими письмами, и на крыльях любви (да простится мне эта банальность) лечу в подмосковный санаторий Академии наук – «Узкое».

Я в «Узком».

«Узкое»

такое русское,

такая всюду тишь и гладь,

что на закат, на солнце тусклое

вниманье

мелко

обращать.

Земля и этих красок простеньких

лишится, как последних сил.

Я здесь по приглашенью: родственник

меня на дачу пригласил...

Лебедино–усадебным показалось мне «Узкое» в тот приезд. Правда, лебедей я не видела, но весь озерно–лесной уклад бывшего поместья как бы предполагал их. Дядя хорошо выглядит, собирается в Италию. Должен был ехать весной, но затянулось оформление. Непросто что–то откладывать в его–то годы.

– Они ни с чем не считаются, кроме хода своей имманентной машины, – говорит он.

В Италии будет читать лекции по–итальянски. В Генуе, в Риме, во Флоренции. Первая тема – лингвистическая. Вторая: «Русский стих от Ломоносова до Маяковского». Откуда он знает итальянский? Учил в молодости. Полвека не было практики, а недавно взял несколько частных уроков – и все вспомнил.

Денег ему не дают. Жить должен на гонорары. С добросовестностью счетного работника делит и умножает итальянские лиры.

– Меня волнует только одно, – усмехается он, – хватит ли денег на поездки. Капри, скажем, Венеция...

Углубляемся в холодные аллеи парка, ступаем по сырому лиственному настилу. Виктор Максимович – посередке, по бокам – мы с Ниной Александровной. Легконогая, молодая, она привычно приспосабливает свой шаг к степенно шествующему мужу. Может быть, из-за появившейся седины, из-за дымчато-голубых бус, под стать этой седине, она особенно эффектна сегодня...

От аллей естественно перейти к Бунину. Для моих друзей, особенно для Юрия Казакова, он – Бог; а что думает о нашем идолу мой спутник?

– В юности я его не читал. Он считался у нас старомодным писателем. В последние годы самые разные люди говорили мне о нем с восторгом и преклонением. Я прочитал все, что вышло. Было и открытие, и разочарование. Он очень однообразен, утомителен. В его описаниях нет лаконизма и много слащавости. Мне претит и его специфическая эротика, тоже, кстати, слащавая. Знаменитая «Деревня» беспросветна, не нравится. При всем том он, конечно, большой писатель...

Заметив, что я подавлена таким его отзывом, меняет стиль разговора. Сначала спрашивает мое мнение о том или ином литературном явлении...

Радуюсь, если мы оказываемся единомышленниками. Глотаю горькую пилюлю, если нет...

– Паустовский? Я думал о нем раньше: ну еще один очеркист, пишущий на современные темы. В больнице мне попались его мемуары. Мне понравились. Было еще и потому интересно, что мы – ровесники. Что же еще, думаю, он написал? Спрашиваю у друзей – советуют читать собрание сочинений. «Романтики» – ходульная вещь и, как я называю, «роман о кальвадосе». Как у Ремарка – опустошение, пьют и спят друг с другом. Только менее талантливо. Зато «Блισταющие

облака» – прекрасно. «Кара–Бугаз» очень хорош в первой половине. «Колхида» – отлично. Ну а «Золотая роза» – просто великолепно. Я понял, в чем его сила: он художественно воссоздает действительность на документальном материале...

Завожу речь о поэзии, о поэтах. Оказывается, Виктор Максимович начинал со стихов, по рекомендации Блока попал «на башню» к Вячеславу Иванову. В стихах любит классическую ясность и совершенство формы. Признается, что пастернаковские раздерганные образы его раздражают. Про Цветаеву долгое время думал, что она крутится вокруг Блока, а это ему было неинтересно. Вообще московские поэты как–то выпали из его поля зрения.

Ленинградская школа – это прежде всего Ахматова.

– Она сейчас переживает... – привычно-обстоятельно начинает Виктор Максимович.

– Свою посмертную славу! – не выдерживает Нина Александровна.

Причину колоссальной известности Ахматовой за границей мой собеседник видит в «Реквиеме» – ахматовский «Доктор Живаго» – и в том, что она – единственная живая из западных кумиров.

– Она мне говорит: «Мы с вами дожили...» Я не принимаю этого «вы» на свой счет. Но она, действительно, не одна, а как уцелевший представитель целой группы.

О «Докторе Живаго», вокруг которого еще недавно шумели такие страсти, невозмутимо замечает, что так о революции мог бы написать один из персонажей «Дней Турбиных». Сравнивает Пастернака с американкой Митчел, «Доктора» – с романом «Унесенные ветром». И тут и там идеи реакционные, отвергнутые жизнью. А написано превосходно.

– Этого противоречия я объяснить не умею... – досказывает он.

Обосновав свою точку зрения, идущую вразрез с моей, не преминет добавить:

– Понимаю, у вас есть свои убеждения. Я не хотел бы их оскорбить...

Господи, не сорок пять лет разделяют нас, а целая эра! Кто и когда говорил мне такие слова?

*...Нас разделяло всё: Германия
До войн. И Блок ещё живой.
И прерывающий дыхание
Дух революций огневой.
И Марр в чести. И новь весенняя...
И вдруг средь ясна неба гром:
Разносы, чистки, выяснения,
Размежевание платформ.
Та низкая, а эта шаткая,
Ту или эту выбирай.
Наука – вещь сугубо штатская –
Пылала, как передний край.
Какие рвы, какие горы вам
Пройти с той армией пришлось?
Повычисляйте с Колмогоровым –
Он знает всё и вся насквозь...*

Стихотворение «Санаторий Академии наук», написанное совершенно искренно на уровне моего тогдашнего понимания, я послала адресату в Ленинград. Хотя оно заканчивалось на элегической ноте: «За озеро два солнца катятся, / И над закатною водой / Проходит академик Капица, / По силуэту молодой.» и так далее, из моей новой книги его выбросили. Виктор Максимович среагировал на это неожиданно горячо.

«Почему запретили стихотворение «Дядя»? – спрашивает он в письме. – Это очень обидно и совсем непонятно!» Спустя полгода снова: «Как подвигается ваш сборник, и добровольно ли редакция исключила из него столь дорогого мне «Дядю»? Скажите им, что это очень глупо, в особенности если учесть, что тов. Чаковский, как передавало Канадское радио, сообщил в Монреале, что в Советском Союзе нет политической цензуры, а есть только «цензура нравов».

Одобрительно высказывался и о моей книге «Забота», вышедшей в издательстве «Советский писатель» в шестьдесят восьмом году: «Спасибо вам за сборник стихов. Он производит очень хорошее впечатление – большой зрелости и самостоятельности, которая, впрочем, была заметна уже с самого начала. У вас свой поэтический голос, который легко узнать. Вам присуща известная «интеллектуальность» – в хорошем смысле – разумеется, интеллектуальность поэтическая, которая, мне кажется, отчетливо определяет ваше особое лицо среди других «молодых» поэтов».

Трогательно следит за моими литературными делами, особенно за отзывами заграничной прессы. Прислал вырезку из газеты «Унита», где была напечатана беседа с Борисом Полевым, назвавшим в числе авторского актива журнала «Юность» и мое имя. Прокомментировал отзыв на «Заботу» бюллетеня «Оклахома Пресс»: «...американский критик обрадовался изысканному модернизму вашей метафорике, оставшемуся незамеченным советским редактором».

В то время я стала собирать материалы для художественной биографии Ларисы Рейснер. «Политиздат» заключил со мной договор на книгу о женщине-комиссаре. Это официальное издательство вдруг начало игры с «молодыми» писателями. Тогда были написаны и вышли «Глоток свободы» Булата Окуджавы, «Евангелие от Робеспьера» Анатолия Гладилина, «Сказать не желаю» Владимира Корнилова. У меня книга застопорилась по объективным причинам. В издательстве испугались Ларисиных мужчин, а они были как на подбор: Гумилев, Раскольников, Радек. Где-то за кадром маячила и тень Троцкого...

Много лет спустя, когда все стало разрешено, я сама потеряла интерес и к такой книге, и к ее героине. Но в конце шестидесятых почти год жизни отдала подготовительной архивной работе.

Рукописный отдел Ленинской библиотеки прилежно хранил архив Ларисы Михайловны, в том числе и письма к ней Гумилева. День за днем разбирала я драгоценные бумаги...

Прочитав в одном из гумилевских писем его сочувственный отзыв о статье Виктора Максимовича «Преодолевшие символизм», я, естественно, сообщила об этом дяде, заодно задав ему кучу вопросов о Ларисе Рейснер и ее окружении. Привожу отрывки из его большого письма-ответа:

«С большим интересом прочитал высказывание Н.Г. о моей статье «Преодолевшие символизм» (...) С Н.Г. я встречался часто, но отношения у нас были скорее прохладные. Я и мои друзья, по-видимому, отталкивались от его чрезмерной мужественности и волевого склада характера, считали его не очень глубоким и тонким, не очень любили как поэта и предпочли бы видеть Ахматову за кем-нибудь другим. Я считал, что он не очень доволен моей статьёй, так как в ней о нем говорится скорее с холодным уважением, а об А.А. с увлечением. Тем не менее однажды в девятнадцатом или двадцатом году, когда мы вместе шли нежным снежным вечером по Невскому, возвращаясь из горьковского Дома писателей, он сказал мне, что я единственный из современных критиков, который понимает и признает значение акмеизма как нового поэтического направления и что я мог бы стать «Сент–Бёвом» этого направления (...) Я отшутился, сказав, что для того, чтобы быть Сент–Бёвом, нужно иметь в своем распоряжении «понеделники» (критические статьи С.Б. выходили каждый понедельник в одной известной парижской газете (...), а у нас в то время с печатанием было очень слабо!

Ларису Рейснер я знал отдаленно, но довольно хорошо в годы ее ранней молодости (...), она издавала небольшой журнальчик «Рудин». В нем она напечатала свое первое литературное произведение – статью о поэте Райнер Мария Рильке. Для этой статьи она забрала у меня сборники Рильке, которые в Петербурге не так легко было достать (...)

Ее роман с Н.Г. развивался частично на моих глазах. В стихотворной драме «Гондла», написанной около этого времени и напечатанной в «Русской мысли» (позднее Н.Г. ее не переиздавал, хотя это одно из лучших его произведений), она отразилась именем Лери–Лари, которое присвоено героине. Я

был на чтении этой драмы, на котором она, кажется, присутствовала (...)

Существенно для вас, что письма Н.Г. к ней она отдала Анне Андреевне – в порыве, вероятно, характерном для ее натуры (...)

Я сейчас сам приблизился к той эпохе, которую вы изучаете, времени моей молодости, потому что, по поручению изд. «Советский писатель», подготавливаю для Большой серии «Библиотеки поэта» Собрание стихотворений Анны Ахматовой, которое задумано как более или менее полное. Задача эта – нелегкая, ввиду разбросанности ее поэтического наследия и трудных обстоятельств поэтической ее жизни. Но меня эта задача очень увлекает (...)»

Везение из везений! Еду по поручению журнала «Юность» в Ленинград к Виктору Максимовичу – составить подборку из неопубликованных стихов Анны Ахматовой.

Инициатива принадлежит ему. Как явствует из письма Виктора Максимовича, он наконец–то «получил доступ в ее литературный архив, который находится частично в Москве (ЦГАЛИ), частично в Ленинграде (Публичная библиотека)» и нашел более двухсот неизданных стихотворений. Напоминая мне, что в июне исполняется восемьдесят лет со дня рождения Анны Андреевны, спрашивает, не согласится ли «Юность» «помянуть великую русскую поэтессу хотя бы опубликованием ее стихов...»

Около года назад, когда я навестила его в Ленинграде, он был занят делом почти детективным, трудоемким. Не полагаясь на данную ему информацию, будто бы никаких неизвестных стихов от Ахматовой не осталось, он пытался создать «тень архива». В поисках неопубликованного объезжал ее друзей и знакомых в Ленинграде и Москве, и, прежде всего, конечно, тех, кого наградил евангельским именем «жен–мироносиц»: Петровых, Герштейн, Глен...

Он рассказывал мне обо всем этом на комаровской даче после обильной трапезы с таким вниманием к микроскопиче-

ским мелочам литературного толка (как–то: варианты концовок, разночтения строк), с таким святым исследовательским жаром, каких мне уже не пришлось больше встретить ни в ком никогда. Он говорил – я внимала, а кошка Миссисипи – подарок Иосифа Бродского – терлась у нас под ногами. поэт как бы передан был ему Ахматовой по наследству. О таланте Иосифа мнения он был превысокого и рвался рекомендовать его в Союз писателей.

И вот я снова здесь, в Комарове, опять Ахматова позвала меня сюда. А в глазах – солнце и неземная белизна лифляндского снега, сопровождавшие «академическую» машину, на которой мы добрались сюда из города.

По дороге заезжаем на могилу Анны Андреевны. Белой равниной смотрится комаровское кладбище, особенно в сравнении с переделкинским, «высокогорным». Сама могила – на коронном месте, дальше ничего нет. Правда, Виктор Максимович говорит, что это не по правилам, что нельзя запираť кладбищенские аллеи.

Справа, на невысокой стенке, декорированной под кирпич, легкий барельеф поэтессы на заиндевелом квадрате. Не его ли в ознобе поэтического прозрения увидел давным–давно Мандельштам:

*Ах! матовый ангел на льду голубом,
Ахматовой Анне пишу я в альбом...*

По словам дяди, стенка с окошечком для будущего барельефа поначалу была воспринята всеми как тюремная. Вспоминали соответствующие строки из «Реквиема». Боялись за памятник. Однако установка барельефа сгладила опасное впечатление.

Грузный железный крест с безвкусным голубком раздражает Жирмунского Раньше, рассказывает он, был деревянный, и он подходил гораздо больше. Но Лева Гумилев настоял на этом. Бродский и Анатолий Найман грозились ночью вырвать крест.

– Но я их предупредил, – сурово шутит мой спутник, – что это будет истолковано как попытка сионистов надсмехаться над глубокими религиозными чувствами русского народа...

У могилы Ахматовой читаю наизусть посвященные ей стихи Гитовича («Дружите с теми, кто моложе вас...») и Смелякова. Со свойственной ему педантичностью Жирмунский делает замечание по поводу одной смеляковской фразы: «...Сам протодьякон в светлой ризе Вам отпущенье возглашал».

– Почему «протодьякон»? Это – не его миссия. Очевидно, «протоиерей»?..

Так как работа нам предстоит долгая, хозяин дачи заранее показывает мне место ночлега. Это – комната Веры и Али, «детская», где, как он с усмешкой обронил, «дети никогда не бывают, потому что им некогда». Теперь в «детской» царит Анна Андреевна. Количество папок с размноженными экземплярами ее стихов – огромно. Я сразу подпадаю под гипноз вариантов, черновиков, книжных и журнальных редакций – всего, чем живет хозяин дачи.

Сложность в том, что он готовит ахматовскую подборку еще и для «Нового мира», для Твардовского. И это, как я понимаю, для него сейчас главное.

Дней десять назад из нашей московской коммуналки Виктор Максимович звонил Твардовскому в больницу. Он звонил, а я набирала номер. Удивительно было слышать его покровительственную интонацию по отношению к поэту, на которого я и мои ровесники смотрели как на живого классика.

Твардовский за что-то благодарил его. Оказывается, Жирмунский публично ратовал за избрание его академиком. В ответ на мои вопросы дядя уверяет, что его заслуги в этом деле более чем скромны.

– Я только сказал, что, избрав Александра Трифоновича академиком, мы выиграем в общественном мнении.

К сожалению, этого не произошло...

Составлять две параллельные подборки не просто. Твардовский незримо присутствует за письменным столом, давя на хозяина своей личностью, авторитетом своего журнала. Я обретаюсь тут же, как говорится, живьем и непрерывно использую выгоды своего положения: «Это стихотворение – нам! Это – тоже нам! Что упадет в отроческую память, останется с человеком навеки!»

Некоторые стихи непреклонно откладывает в сторону – среди них много сразу запоминающихся:

*Хулимые, хвалимые,
Ваш голос прост и дик.
Вы – непере译имые
Ни на один язык.*

*Вы самые свободные,
Хоть родились в тюрьме.*

Или:

*Оставь, и я была как все,
И хуже всех была,
Купалась я в чужой росе,
И пряталась в чужом овсе,
В чужой траве спала.*

Объясняет мне, что не хочет нарушать тот относительный покой, который установился вокруг имени Ахматовой, избегает предлагать в печать какие бы то ни было компрометирующие стихи, касается ли это гражданского или женского «я» поэтессы.

Вообще, мы все время переговариваемся. Дядя вслух комментирует многие стихи. Попутно рассказывает мне перипетии личной жизни Анны Андреевны. Передо мной встают как живые Гумилев, Шилейко, Пунин, Гаршин. Четверостишие, посвященное последнему:

*Глаза не свожу с горизонта,
Где метели пляшут чардаш.
Между нами, друг мой, три фронта:
Наш и вражий и снова наш.*

...вызывает мое недоумение. О каких трех фронтах идет речь?

В свою очередь удивляется он:

– Всякий ленинградец понимал тогда, о чем речь. Фронт был похож на слоеный пирог. Но раз выросли люди, которые не знают этого, я растолкую строку в примечаниях.

И растолковал. В однотомнике Ахматовой, изданном Библиотекой поэта Ленинградского отделения «Советского писателя» в семьдесят шестом году, нахожу: «Три фронта – защитники Ленинграда, блокировавшие город войска фашистов и советские войска, державшие последних в частичном окружении».

Работаем за полночь и на другой день – тоже. В результате две из «Северных элегий», стихотворения «Творчество», «Причитание», «Особенных претензий не имею», несколько четверостиший и еще много всего ложится в стопку для «Нового мира». Но и «Юность» не обижена: я увожу с собою тридцать неизвестных произведений Ахматовой, в том числе «Послесловие к ленинградскому циклу», «Четыре времени года», «Из цикла «Тайны ремесла»...

После моего отъезда Виктор Максимович шлет мне письмо за письмом. К составу публикации в «Юности», ее типографской подаче, к любым мелочам, обычно заботящим только технических редакционных работников, относится свято. Присылает вдогон свою вступительную заметку и примечания. Дает советы относительно портрета Анны Андреевны. Переписывает от руки и вкладывает в очередной конверт малоизвестные стихи, скрупулезно указывая выходные данные: «Свободный мир», 1918; «Свободный журнал», 1918... И со свойственной ему деликатностью еще благодарит меня за «материнские заботы» о нашем общем деле.

В шестьдесят девятом году и «Новый мир», и «Юность», и «Звезда» почтили память поэтессы. Жирмунский чувствовал себя неважно, но продолжал упорно работать над книгой Ахматовой. Мало сказать: «упорно». Со страстью, с какой – то юношеской алчностью.

В конце шестьдесят девятого года он пишет мне:

«Из очень чуткой и интересной статьи Л. Эйшлина “Иностранная литература” № 12 я узнал о выходе в свет сборника восточных переводов А. Ахматовой, под ред. С. Липкина. Вы представляете себе, как мне эта книга нужна, но достать ее в Ленинграде нет возможности! М. б., вы окажете мне помощь: позвоните С.И. Липкину от моего имени (мы были когда-то добрыми приятелями!) и попросите его дать вам для меня или послать мне экземпляр (...) Я был бы вам и ему очень обязан за такой новогодний подарок!»

Виктор Максимович тяжело переживал уход Твардовского из «Нового мира» и в марте семидесятого писал мне с горечью: «По-видимому не судьба нам иметь хорошие журналы, как и вообще – нешаблонные и неортодоксальные идеи. Трудно при этих условиях надеяться, что Собрание стихотворений Ахматовой встретит поддержку у «начальства» и скоро выйдет в свет».

Однотомник Ахматовой, как известно, вышел шесть лет спустя. Редакция «Библиотеки поэта» выразила особую благодарность вдове составителя Нине Александровне Жирмунской за помощь при завершении работы над книгой.

Составляя московский «День поэзии» семьдесят первого года, я попросила Виктора Максимовича подсказать, кого из незаслуженно забытых поэтов начала века мы могли бы представить в мемориальном отделе.

Ответ его, как обычно, был незамедлителен: «... я очень рекомендую вам (...) Федора Сологуба. Это был действительно замечательный поэт, и так на него справедливо всегда смотрели его современники-поэты. По содержанию стихи его не содержат никаких специфических трудностей. Он оставил очень большое неизданное стихотворное наследие».

Увы, Сологуба мы так и не дали: среди членов редколлегии не было единодушия по этому вопросу. Зато напечатали Максимилиана Волошина и Анну Ахматову, в частности одно из ключевых ее стихотворений: «De profundis... Мое поколение...»

В мае семидесятого я с писательской группой побывала в Ленинграде. У нас была насыщенная программа – по несколько выступлений ежедневно.

Вечером того дня, когда была запланирована наша поездка в Кронштадт, Виктор Максимович читал в Союзе писателей доклад «Блок и Ахматова». Я так боялась, что на вечер мы не успеем. Но все получилось как по заказу. Мы вовремя вернулись в город, автобус подвез нас прямо к Союзу писателей, и несколько человек из нашей группы перешли в полный и без того зал... Это была моя последняя встреча с Виктором Максимовичем. Тридцать первого января семьдесят первого года его не стало...

Со слов вдовы знаю, что последняя книга, которую он читал, – «Былое и думы» Герцена. Последняя его речь – на банкете по случаю избрания Лихачева академиком. Дмитрия Сергеевича он очень любил, помнил его студентом. И пожелал во всеуслышание, чтобы в академике Лихачеве побольше оставалось от юноши Лихачева, так похожего на Алешу Карамазова...

На похороны дяди я полетела на самолете. После людского водоворота на панихиде в Академии наук неправдоподобной показалась мне тишина комаровского кладбища. Я прочла стихи – ему, живому. Кто-то попросил меня взять несколько чайных роз из огромного букета у его гроба и отнести на могилу Ахматовой.

Так и сделала. Памятное мне надгробье, все в снегу, украшала могучая хвойная лапа. Я воткнула в нее свежие розы. «Ах! матовый ангел на льду голубом...»

Говорят, у покойников ничего нельзя отнимать. Но Виктор Максимович, знаю, был бы доволен. Всю жизнь он отдавал. Науке. Литературе. Ученикам. Коллегам. Поэтам. Близким. Народу. «Что отдал – то твое», – недаром Ахматова постави-

ла эти слова Шота Руставели эпиграфом к одному из своих стихотворений.

P.S.

Недавно, заглянув в Yandex, я обнаружила там среди моих разрозненных публикаций стихотворение «Молитва», посвященное Виктору Максимовичу Жирмунскому еще при его жизни. Увы, посвящения там не было.

Спасибо тем, кто выудил стихи из книги «Грибное место» или, вернее, из «Дня поэзии», но жаль, что исчезло посвящение. Хочется восстановить справедливость.

«Молитве» предшествовали вот какие события.

После нашей встречи в семидесятом году, как оказалось, последней, я вдруг почувствовала острую тревогу, опасение за его жизнь. Какое-то время ни о чем другом не могла думать. Родились стихи. Я не решилась послать их адресату, чтобы не волновать его. Написала на конверте имя Нины Александровны.

Но почту получала не она, а он. Увидев знакомый почерк, вскрыл конверт и прочел стихи. Реакция, о которой я узнала потом, была спокойной. Виктор Максимович Жирмунский к жизни и смерти относился философски, я бы даже сказала, религиозно.

Так он снял тяжесть с моей души, и я получила внутреннее право на устное чтение «Молитвы» и – впоследствии – публикацию.

Возвращаю стихам посвящение.

Молитва

В.М.Жирмунскому

Не за себя,

хвороба, ну и пусть, –

И не за дочь, –

тьфу-тьфу, она здорова, –

Безадресно, безграмотно молюсь

*На пасмурной платформе Комарова:
«Эй, кто там есть?»*

Хотя бы и никто!

*Дай человеку смертному отсрочку.
Пока на долготе его светло,
Вглядись в одну мерцающую точку.
Плацдарм зимы недвижим и суров,
Но женищина дрова несёт в охапке,
Заснежен двор и посреди снегов
Стоит старик в каракулевой шапке.
Он только что прервал свой долгий труд
И погружен в себя, в проекты, в книги.
Часы идут,*

часы, как снег, идут,

*Овеществляя вечность в каждом миге.
Прошу тебя — прибавь ему, подкинь
Десяток лет,*

не пресекай раздумья.

*Раз ты и справедливость — двойники,
Не подводи его под общий номер.
Превысь лимит, нащелкай, надъиши,
Распорядись по крайней мере тонко:
Дай чистому,*

отрезав у ханжи,

Дай честному,

взяв силой у подонка.

*Ещё и внуки у него малы,
И у жены осанка молодая,
И так непритязательны миры
С антинаучным обещаньем рая.
Нет, не любовь — апатия слепа.
За стариков так редко просят, Боже.
Те, что старей, те просят за себя,
И суетно молчат*

те, что моложе.

1970

Елена Левина

«Они были молоды... Они были талантливо...»

О даче на Клязьме

Молодые писатели Илья Ильф, Евгений Петров, Борис Левин и художник Константин Ротов в тридцать первом году приобрели дачу на станции Клязьма. Все они, еще с двадцатых годов работали в юмористических журналах, дружили, ездили вместе в командировки. Они были молоды... Они были талантливы... Они были полны надежд и планов. Почти у всех были маленькие дети.

Дачу купили у Михаила Кольцова, а до него она принадлежала какому-то купцу. Ходили слухи, что где-то был запрятан винный погреб, и время от времени его в шутку искали.

Дом находился недалеко от станции. Улица была широкая, заросшая травой, с узкими тротуарами и огромной лужей посередине, непроезжей после дождей. С правой стороны, в глубине участка, как раз против этой лужи, и стояла наша дача, отгороженная невысоким серым забором из мелких планочек. Она была двухэтажная, точнее, с мансардой и башенкой, голубая, отделанная синим кантом. Синими были наличники, рамы и столбики, подпиравшие крышу террасы.

Участок – просторный, светлый, с соснами и березами. От калитки к дому шла аллея из кустов с розовыми цветами в виде метелочек. Перед домом были разбиты грядки с табаком, и большая клумба с анютиными глазками, а вдоль фундамента всегда росли настурции. Направо от клумбы – маленькая

полянка, где играли дети, а взрослые – иногда в городки. За ней у забора – огород с кустиками укропа и заросли крапивы. Налево, в стороне от дома находилась площадка, где вечерами играли в волейбол, и собиралось много народу смотреть. А когда не хватало игроков, то зазывали даже прохожих.

На одной половине первого этажа жили Ильфы и Петровы. Их комнаты выходили на широкую террасу под крышей; в другой половине – Ротовы, в большой комнате с открытой террасой. В дальнем углу дома – общая кухня с входом с крыльца.

Скрипучая деревянная лестница вела на мансарду, где жили мы. У нас имелась одна большая комната со скошенным потолком и оконцем, из которой попадали в маленькие комнаты и чуланы. Две из них располагались прямо над крышей террасы, и на нее можно было выходить из окошек, а одна – в башенке. Это была как раз моя. Каждая комната имела свое название. Одна, например, называлась «гроб».

На даче жили дети: Петька Петров, Ирка Ротова и я, Ёлка. Все мы родились друг за другом: я и Ирка осенью двадцать восьмого года, а Петька в январе двадцать девятого. Позднее, уже в тридцать пятом, появилась на свет Сашенька Ильф.

Ирка была худющая и зеленая, потому что ела колбасу, а я розовенькая, потому что ела морковку – так говорила моя бабушка. Ирка любила дразниться и гримасничать, как обезьяна, а Петька был покладистый, и от него пахло грудным молочком – так мы считали, и мы его нюхали.

С утра пораньше мы выбегали из дома и начинали носиться. Это мешало Ильфу. Он говорил: «Они топчут, как пони». Из игрушек у нас были лопатки, папиросные коробки и куклы. Но больше всего мы любили копать какие-то ямы, драться и смотреть, как играют в волейбол, сами тоже играли в мячик, бегали с сачками за бабочками, шлепали по лужам во время дождя.

Днем, за кустиками, нас обливали водой, нагретой на солнце в тазиках. В жаркие дни водили на речку. Мы выходили на крутой берег, смотрели на купающихся, спуска-

лись по тропинке на пляж, валялись в песке, гонялись за стрекозами, бултыхались в воде, но плавать нас почему-то не научили.

Еще нас водили есть клубнику на какую-то дачу, где были парники, и росло много флоксов. Садились на лавочку и скромно ждали, когда принесут ягоды. Однажды нам с Иркой дали одну тарелку клубники на двоих, разделив ее ложкой пополам, и мы подрались. Я быстро съела свою долю, а Ирка облизывала ягодки и строила рожи, я не выдержала и стукнула по тарелке, так что они разлетелись.

Мы все время что-то выдумывали: однажды разделись до гола, обмазались сажей от кувшинов, в которых грели воду, и, как негритята, отправились на станцию. Все смотрели с удивлением, по дороге нас узнали и отправили домой. В другой раз мы захотели денег, и вышли за калитку с огромным эмалированным чайником и стаканом. Всем прохожим предлагали купить воду, уговаривали, люди улыбались и отказывались. Тогда мы нарвали цветов и стали предлагать букеты. Опять все улыбались, но никто ничего не брал. На свою беду мимо нашей калитки шла девочка с бидоном для керосина, и в руках у нее был желанный рубль. Ирка выхватила рубль, а мы всучили девочке букет. На крик сбежались взрослые и отодрали нас.

Больше всех с нами занимались Константин Павлович Ротов и моя бабушка. Они ходили с нами гулять на поле аэродрома, и мы смотрели, как взлетают самолеты и прыгают парашютисты. Как-то заблудились в лесу, и все шли, шли на солнечный лучик. Наконец, вышли на незнакомую опушку, где встретили слепых, которые привели нас домой. Это было невероятно, все над нами смеялись.

У Петьки тоже была бабушка, которая любила его кормить. «Петя! Петя! Ручки мыть!», – кричала она. Однажды она выбежала за ним с горшочком пшенной каши: «ну Петя, хоть ложечку», но вместо него подбежали мы с открытыми ртами, и она поочередно кормила нас потрясающе вкусной кашей, желтой, рассыпчатой, сладкой, как гоголь-моголь. Кстати, го-

голь-моголем нас часто кормили. Молоком нас тоже поили от козы, которая щипала травку на соседнем участке. Однажды мы ее накормили папиросами.

Я жила с бабушкой и няней, часто к нам приезжал папа. Он жил в комнате, где было мало солнца. Там стояли железная кровать, накрытая зеленоватым одеялом, письменный стол и корзинка для бумаги. Когда он появлялся, мы все очень радовались, а я особенно, и вылезала с ним на крышу, на зависть Петьке и Ирке, но папа их сразу же звал, и они мчались, как угорелые, к нам наверх, и мы уже все вместе ели картошку в мундире. Мама приезжала редко – она много работала и говорила, что не любит дачу и дач вообще, ей нужен простор. Она ездила под Рязань к своей подруге на пленэр, так как была художница.

Мой папа был добрый, грустный и смелый. Участник гражданской войны. Как-то к нам ночью залезли грабители, и он единственный выбежал на шум, выстрелил из пистолета и поверг их в бегство. С Ильфом у него была такая игра: «среди кого больше мерзавцев – у партийных или беспартийных». Когда Ильф вспоминал очередного мерзавца партийного, он мчался наверх, а когда папа – беспартийного, то бежал вниз со словами: «А этот?»

Он был корреспондентом «Правды» в финскую войну на севере Карелии и погиб в бою под Суоме-Сальме вместе с Сергеем Диковским, тоже корреспондентом и писателем. В этом бою погибла почти вся дивизия. Тогда Евгений Долматовский написал:

*Мороз был трескуч, и огонь был гневен,
Ужели мы встретиться не должны:
Сереза Диковский и Боря Левин,
В шесть часов вечера после войны...*

Папа и Константин Павлович ходили на даче одно время в полосатых футболках, Ильф обычно в коричневых брюках и рубашке, его жена Мария Николаевна в однотонном сарафа-

не. А Валя Петрова часто носила темно-синие расклешенные брюки с кремовой кофточкой и на груди с якорем, от которого на голую спину спускались лямки. Это было очень модно.

Екатерину Борисовну Ротову я запомнила в светлых платьях с яркими цветами и с красным маникюром, который меня поразил. Я думала, что это у нее одной такие ногти. Как-то мы ехали на дачу и на перроне, при посадке в электричку, была давка. Вдруг в толпе мелькнули красные ногти, я радостно кинулась в ту сторону, но, конечно, это была не она.

Мама носила чаще всего полотняные платья. Я так любила одно светло-серое с небольшой синенькой вышивкой крестиком.

Петров с утра ходил в пижаме, но не такой мешковатой, как в поездах, а красивой, видимо заграничной, в полосочку, с воротником шалью, и подпоясывался шнурком. Сам он был высокий, стройный, смуглый, с темными прямыми волосами. У него было узкое лицо с высокими скулами и узкие глаза. Что-то в нем было от индейца. Мы, дети, были ему не интересны.

Вообще все они, я имею в виду наших пап, были всегда подтянутые, одежда сидела на них хорошо.

В середине тридцатых годов на даче часто бывал Петькин дядя Валентин Катаев с женой Эстер, светло-рыжей хрупкой красавицей с зеленоватыми, чуть раскосыми глазами, всегда смеющейся, приветливой. Она мне нравилась, а через некоторое время Эстер пополнела, и я в недоумении толкала ее в живот, спрашивая: «Эстерка, почему ты такая?»

Вскоре она родила девочку. На радостях Катаев подарил Петьке велосипед: черный, лакированный, с кожаным седлом и педалями как каучуковые подошвы. Потрясающий.

Ирка тут же закричала: «Папа, я хочу, я хочу», – «Ирочка, у меня нет денег», «Как нет?» и она сказала: «Я знаю, что есть и где лежат». И мы все побежали за ней. Она открыла ящик письменного стола, где в углу лежали деньги.

Скоро Константин Павлович привез ей велосипед, а я, молча, переживала, так как мой папа был в отъезде. Но на следующий же, день, Константин Павлович привез мне тоже велосипед, сказав, что от папы.

Велосипеды мы обожали, ездили все время вместе повсюду, на зиму забирали в Москву, где они стояли, как предметы мебели. Помню, как мы ожидали затмения солнца: сажей замазывали стекла, потом папа привез очки, и, наконец, мы отправились наблюдать, почему-то на аэродром, и очень рано, на рассвете. Конечно, на велосипедах, с бабушками и Константином Павловичем.

Там было уже много народа, мы устроились на поле и стали смотреть, но ничего не было видно. Кто-то посоветовал смотреть лежа вверх ногами, так и сделали. «А теперь видно», – сказал кто-то, – а я так и ничего не увидела.

К нам приходило много гостей, некоторые жили где-то рядом. Например, Ардовы. Однажды к нам на белой лошади приехал мальчик, такой же, как мы. Это был Алеша Баталов. Мы были потрясены. То, что лошадь – старая кляча, было неважно, все было здорово. Нам дали посидеть на ней. Только Петьке его мама не разрешила, он так расстроился, что с воплем бросился на землю.

Петькина мама, Валечка Петрова, была совсем молоденькая и хорошенькая, с пепельными волнистыми волосами. Ее обожал Юрий Карлович Олеша, все это знали, и мы тоже. Он подарил ей духи «Манон». Петька тут же пригласил нас, стал открывать флакон, а мы нюхать, и он почти все вылил на нас. Валечка издали учуила запах, тут же примчалась и рассердилась.

Через некоторое время Олеша подарил ей куклу, большую, с закрывающимися глазами, нарядную. Кукла сидела в углу на стуле и была отделена толстым шнурком или канатом, как музейная редкость, чтобы мы ее не касались. Книжка «Три толстяка» была посвящена Валентине Леонтьевне, но почему-то в современных изданиях это не указывается.

Олеша был небольшого роста, с серыми колючими глазами. На нас посматривал настороженно и с опаской.

Петька никак не мог выговорить слово «шоссе», Петров долго сердился на него. Петя стал хорошим кинооператором, но, к несчастью, рано умер.

Алеша Баталов приходил к нам в гости, мы играли в дочки-матери, он сказал, что будет папой и сшил кукле платье. Ирка сразу же в него влюбилась. Позже она вышла за него замуж и у них родилась дочка Надя.

Нас укладывали днем спать, ставились раскладушки, обычно это было рядом с огородом, в тени. Одно время мы придумали удирать: делали вид, что уснули и вскоре вскакивали. Особенно отличалась я. И вот бабушка поставила мою раскладушку в крапиву. Я забыла про это, проснувшись, вскочила и прыгнула. На мой крик прибежали Ильф и бабушка. Бабушка смеялась, радовалась, что ей удалось меня проучить, а Ильф сильно сочувствовал, взял на руки и обдувал.

Мы взрослых называли по имени и отчеству, они друг к другу обращались по имени и на «вы». Пожалуй, только папа и Константин Павлович были на «ты».

Ильф и Мария Николаевна часто сидели на ступеньках террасы и наблюдали, как мы играем, расспрашивали о наших делах. Им даже можно было пожаловаться. И вообще наши родители никогда в жизни не вмешивались в наши отношения.

Иногда Ильф сидел один, снимал пенсне и протирал глаза. Или быстро ходил по аллейке, которая вела к калитке. Позже по этой аллейке он катал коляску с Сашенькой. Коляска была кофейного цвета на мягких рессорах. У них в комнате было просторно, светло, но я помню только мольберт, за которым рисовала Мария Николаевна, тахту и обеденный стол, прижатый к стене, на нем стояли какие-то вазочки с печеньем и чашки.

За год до войны, после пионерского лагеря я приехала на дачу, когда уже не было Ильфа, там жили Мария Николаевна и Сашенька. Она напоминала маленькую барышню, весьма нежную, с медно-рыжими волосами и веснушками, в вязаном платице. С ней гуляла воспитательница в буклях, которую звали «мадам», и она учила ее французскому.

Константин Павлович, пожалуй, был самым доступным для детей. Он рисовал за письменным столом, где у него был идеальный порядок: карандаши отточенны, кисточки чистенькие. Мы часто подбегали к нему, становились за спиной и смотрели, как он раскрашивает рисунки, а Петька иногда стоял подолгу, как замороженный, и тот ему говорил: «не сопи».

Однажды он посадил помидоры, а рассаду покупал вместе с соседом. Помидоры все никак не созревали. И как-то вечером Константин Павлович выкрасил их в ярко-красный цвет. Утром, как только сосед это заметил, тут же прибежал с криком: «Костя, почему у тебя красные, почему?»

На даче взрослые часто смеялись, любили розыгрыши. Какие-то отдельные шутки я помню, о некоторых знаю понаслышке. Например, об одном розыгрыше Ильфа: «Однажды, Илья Арнольдович загадочно улыбаясь, сказал Марии Николаевне: “Завтра к нам на целый день придет художник Кукрыникс с женой и детьми”. В воскресенье рано утром открывается калитка, и входят... трое мужчин, каждый с женой и детьми...»

Ротов любил радио, у него был приемник, он разбирался в технике и установил на террасе радиоточку, а из комнаты можно было вещать. Например, моего папу разыграли так: как бы настоящий диктор объявил литературную передачу: отзыв Льва Никулина о романе «Юноша». Отзыв был ругательный. Папа поверил и возмутился: «Каков мерзавец, только вчера его встретил и так хвалил. Как увижу, набью морду».

Тогда приемники ценились по количеству ламп. Как-то к Ротову пришел знакомый, и между ними состоялся такой разговор: «Костя, я купил двухламповый, а у тебя какой?» «У меня – трехламповый». – «А где же третья?» – «А она в уборной».

Наша дача оказалась несчастливой. С ней была связана какая-то мистика. Говорили, что перед смертью Ильфа на всей даче зажегся свет. Это случилось весной тридцать седьмого года,...

«ОНИ БЫЛИ МОЛОДЫ... ОНИ БЫЛИ ТАЛАНТЛИВЫ...»

В сороковом году на финской войне погиб мой папа Борис Левин, летом того же года на даче арестовали Константина Ротова, а в сорок втором, в Отечественную войну разбился на самолете Евгений Петров...

Самые первые хозяева тоже погибли...

К счастью, Константин Павлович вернулся.

И когда дачи не стало, наши мамы сказали: «Слава Богу, что у нас ее нет».

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Андрей Крылов

«Былое нельзя воротить...»

Записки на полях окуджавоведения

У каждого литературоведа со временем накапливаются сюжеты, не претендующие на написание статей. Это и полемические заметки, и такие же разрозненные наблюдения, дополнения к своим или чужим опубликованным ранее работам. А иногда это всего лишь вопросы, нуждающиеся в откликах еще живущих свидетелей. Ведь чем позже историк литературы задается тем или иным вопросом, тем сложнее искать на него ответ. Есть такие разрозненные записки и у меня...

Все неподписанные эпитафы взяты из стихов Окуджавы.

Как появляются первые стихи

Журналистика — это литература на бегу.
Мэтью Арнольд

Липа — что-н. фальшивое, поддельное.
Утка — ложный сенсационный слух.
Словарь русского языка Д. Н. Ушакова

Их напечатала газета «Комсомольская правда» в своем московском выпуске под сенсационным заглавием «Первое стихотворение Окуджавы» и шапкой «Публикуется впервые»:

*Слышал, немец прёт на нас, —
молвил тихо дядя Влас. —
Это, девки, ничего,
навидались мы всего.
Мы когда-то немцам-псам
крепко дали по усам.*

*Тбилиси, 1941 г.**

Стихотворение сопровождалось статьей о тбилисском периоде жизни поэта. Из этого города он добровольно, после неоднократных отказов военкомата ушел на фронт в августе сорок второго, хотя по закону** имел возможность доучиваться в школе.

По сути это было грандиозное открытие. Стихи начинающего поэта, написанные им после начала войны, наперечет. И практически все они сохранились благодаря покойному ныне другу Булата — Филиппу Михайловичу Тер-Микаэлян. Всего он сохранил три автографа сорок первого—сорок второго годов*** и один текст переписал от руки. Есть, правда еще одно четверостишие, написанное уже на фронте. Историю этой забытой военной песни Окуджава воспроизводил не раз:

*До войны я начал писать стихи, а на фронте сочинил первую песню, очень подражательную, конечно... Спустя много лет кто-то написал в «Комсомольскую правду»: «Мы иногда читаем стихи поэта Окуджавы — не он ли сочинил песенку, которую пел наш полк: “Нам в холодных теплушках не спалось...”» Так я узнал слова своей самой первой песни****.*

* Комсом. правда в Москве. 1999. 8 мая.

** См. ст. 29 Закона о всеобщей воинской обязанности, вступившего в силу 1 сентября 1939 г.

*** Полный текст одного из этих стихотворений обнародован Ольгой Розенблюм в ее кандидатской диссертации «Раннее творчество Булата Окуджавы (опыт реконструкции биографии)» (М.: РГГУ, 2005).

**** Окуджава Б. О чем ты успел передумать, отец / Монолог записал И. Мильштейн // Сел. молодежь. 1985. № 2.

Но из самой песни он всегда цитировал лишь одну эту строку.

И только в одной беседе с молодыми израильскими поэтами Окуджава не постеснялся прочесть еще три, которые, сложившись с первой, дали такое четверостишие:

*Нам в холодных теплушках не спалось,
Но не гаснул всю ночь огонёк.
Потому ль, что мешала усталость
Или фронт был совсем недалёк*.*

Мы должны быть благодарны журналистам «Комсомолки» за то, что письмо ветеранов не затерялось в суете, что они переслали его поэту.

...И вот их новая находка!

Об источнике стихов в публикации не было ничего, но сопроводительная статья «Тбилисская юность московского барда» придавала находке достоверность. В статье были собраны воспоминания оставшихся в живых свидетелей тех событий, в частности, рассказывалось об актерском опыте молодого Булата:

Когда началась Великая Отечественная, школьный агиттеатр выступал в госпиталях, на предприятиях. Булат играл роль дяди Власа. Анна Аветовна (*классный руководитель будущего поэта — А. К.*) приглашала к себе находившихся в то время в эвакуации в Тбилиси прославленных актеров МХАТа...

Намеренно не называю здесь фамилию автора материала, восстановившего события почти шестидесятилетней давности, поскольку он... к этой журналистской утке про неизвестные стихи не имеет никакого отношения.

* Полную версию интервью см.: Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 7. М.: Булат, 2010.

Правда выяснилась случайно. Только через несколько лет нам с моим соавтором по библиографиям Виктором Юровским в собрании Марата Гизатулина попала другая публикация той же статьи, привезенная биографом из Грузии. Перечитывать ее не было смысла, поскольку содержание ее крепко засело в памяти, но ее надо было описать. У библиографии свои законы.

Дабы сформулировать перекрестную ссылку и в соответствии с полнотой написать казенное, но облегчающее жизнь: «см. то же» либо «см. то же в сокр.», — пришлось сравнить два текста. Московский оказался... с купюрами.

В тбилисском оригинале статьи Михаила Айдинова был воспроизведен такой монолог:

— Я познакомилась с Булатом, когда он учился в девятом классе 101-й школы, что на Колхозной площади (сейчас в этом здании отделение полиции), — вспоминает заслуженный педагог Грузии Ниара Аркадьевна Малхаз. — Моя мама Анна Аветовна была у него классным руководителем. Мы часто собирались у нас дома — читали стихи, пели песни, организовали драматический кружок.

Когда началась Великая Отечественная война, школьный агиттеатр выступал в госпиталях, на предприятиях. Булат играл роль дяди Власа, переодетый в старичка актер с бутафорской бородой декламировал: «Слышал, немец прет на нас, — молвил тихо дядя Влас. Это девки, ничего, навидались мы всего. Мы когда-то немцам-псам крепко дали по усам».

Анна Аветовна приглашала к себе находившихся в то время в эвакуации в Тбилиси прославленных актеров МХАТа Ольгу Книппер-Чехову, Василия Качалова, Владимира Немировича-Данченко, солистку Большого театра Веру Давыдову. Булат уже тогда писал стихи, но читал их только в кругу друзей. Общался он и со своим дядей — великим Галактионом. Мечтал издать сборник стихов*.

* Айдинов М. Вознесенный, но не раздавленный // Казак Грузии. Тбилиси, 1999. Июль (№ 3)..

И — ни слова о том, что произносимые в спектакле стихи исполнитель написал сам. Сенсацию «сочинили»... в «Комсомолке» при сокращении статьи. Попавшиеся под руку стихи «комсомольцы-правдисты» без тени сомнения, но с соответствующими задором и простотой вынесли в отдельный материал и нахлобучили ему шапку-замануху.

Такие методы «сокращения», кстати, известны давно. В том числе и поклонникам Окуджавы. За пять лет до этого, в девяносто третьем, кто-то из редакторов газеты «Подмосковье» подсократил, вырвав из контекста, цитатку из опубликованного в другом месте интервью поэта*, представив дело так, что тот, дескать, радовался недавней танковой «атаке» на Дом правительства. На эту утку попались многие, в том числе хорошие люди, которые и до сих пор, когда липа документально и неоднократно опровергнута, держат ее за чистую монету.

Хорошо, что в этот раз хоть обошлось без особых последствий.

О двух «полемиических песенках», или Коварство интертекстуальности

Правая, левая где сторона...

Из уличной песни

Некоторые любители творчества поэта знакомы с таким его авторским комментарием к одной из «песенок». Он прозвучал в конце шестидесят пятого года на так называемом «сборном» поэтическом вечере в московской писательской среде. Возможно, это было первое выступление Окуджавы в родных пенатах после его возвращения из ленинградской «ссылки».

В конце его выступления из зала слышались выкрики с просьбами спеть старые песни.

* Подробности см., например: *Крылов А. Е. Мои воспоминания о Мастере, или Как я стал агентом КГБ. М., 2005. С. 145–146, 184, 186–187; Быков Д. Булат Окуджава // М.: Молодая гвардия, 2009. 2-е изд., испр.*

Ответ был таким:

Нет, я вам сейчас спою песенку, которую я хорошо помню. Она одна из самых последних, — относительно, конечно. Вот. Тут мне пришла записка: «Спойте песню, посвященную Фирсову». Она не посвящена Фирсову. А просто это была такая полемическая песня. Он писал стихи о том, что он счастлив быть правым, а я в ответ написал песенку. Вот эту песенку я сейчас спою. Это не ему посвящено. Это «Песня о московском метро».*

Владимир Иванович Фирсов родился в тридцать седьмом году в смоленской деревне — это важно для понимания его стихов; «рос» как писатель при поддержке ЦК ВЛКСМ, но больших высот в поэзии, увы, не достиг. Предел его карьерного роста — главный редактор советско-болгарского журнала «Дружба».

Печататься, по-видимому, начал в пятьдесят пятом. Невозможно выяснить, где впервые Окуджава услышал или прочел его стихотворение «Моим друзьям». Однако это сочинение вошло в очередной авторский сборник комсомольского поэта в шестьдесят третьем году.

Стихи всегда печатались с эпиграфом:

Моим друзьям

«Почему вы такой правый?»

Записка из зала

Нас называют правыми...

Да, да.

Но вы не огорчайтесь, не беда.

Мы правые от слова «правота».

Да правит нами правды чистота,

Да славят соловьи моей весны

И ту и эту сторону Луны!

* Из выступления 25 ноября 1965 г. в ЦДЛ.

*Мы — правые. И виноваты в том,
Что мы в землянках выжили с трудом,
Что детства не видали в дни войны —
Солдатские, сиротские сыны, —
Что молча шли за плугом и с косой,
Не зная ни Дега, ни Пикассо.
Мы — правые. И виноваты в том,
Что всё давалось нам с большим трудом,
Мы виноваты в том, что мы встаём
И вам, неправым, честный бой даём.
И, право, жаль, что не поймёте вы,
Как мы правы, как всё-таки правы!
Мы виноваты...
А по чьей вине
На каждого Ивана — по войне,
На каждую могилу — по кресту
Иль по звезде, чтоб видеть за версту?!
Мы — правые.
Над нами синева.
Она, как Революция, права.
Она чиста, как Ленина слова.
У нас
На чистоту её права!**

Если поверить Окуджаве, вот чему и кому обязан своим появлением такой миниатюрный шедевр (текст — по прижизненным изданиям):

*Мне в моём метро никогда не тесно,
потому что с детства оно — как песня,
где вместо припева, вместо припева:
«Стойте справа, проходите слева».*

* Фирсов В. Моим друзьям // Фирсов В. Память: (Лирика и поэма). М.: Правда, 1963. (Б-ка «Огонёк»; Вып. 9); То же с несущественными разночтениями, напр., в сб.: Фирсов В. Преданность: Кн. лирики. М.: Моск. рабочий, 1964.

*Порядок вечен, порядок свят:
те, что справа, всегда стоят.
А те, что идут, всегда должны
держаться левой стороны*.*

В авторских фонограммах, в том числе в той, что мы цитировали, явно слышится иное произнесение одной строчки:

...те, что справа стоят, — стоят.

Авторский замысел при жизни поэта был воспроизведен лишь в известном самиздатовском сборнике восемьдесят четвертого года. Отрадно, что в одной из недавних книг эта — центральная по смыслу строка — также была освобождена от цензурной правки, что, кстати, особо отмечено комментатором: «Пунктуация О. В. Окуджавы»**.

Самая ранняя достоверно датированная фонограмма этой песни (из доступных нам) относится к началу шестьдесят четвертого года***. Что ж, магнитофонов тогда было еще не так много, и совсем мало кто из их обладателей заботился о том, чтобы поставить дату своей записи на коробке с лентой.

Между тем, имеется авторизованная датировка песенки: *пятьдесят шестой, шестьдесят первый*. Это в данном случае означает, что стихи написаны в пятьдесят шестом, а мелодия у них появилась в шестьдесят первом. Такая датировка в принципе не противоречит биографии поэта. Ведь он мог услышать чтение Фирсовым своих стихов, к примеру, на первом московском Дне поэзии, на который приезжал в пятьдесят шестом еще будучи калужанином.

* Окуджава Б. Стихотворения / Сост. и подгот. текста В. Н. Сажина, Д. В. Сажина. СПб., 2001. С. 204. (Новая 6-ка поэта).

** См. соотв.: Окуджава Б. Стихотворения / Сост.: О. В. Окуджавы, С. С. Бойко; Коммент. С. Бойко. М.: Эксмо, 2006..

*** Выступление в Ленинграде на квартире В. В. и Л. А. Поповых 3 марта 1964 г. Впервые в совет. печати: Аврора. 1988. № 4.

Безусловно, датировка будет когда-то подтверждена или уточнена по независимым источникам. И тогда станет понятно: все так и было. А вдруг Окуджава написал свое стихотворение независимо от сочинения Фирсова, а услышав его, «напел свои старые стихи», предпослав ему знакомое нам вступление?

Или в автокомментарии — чистая правда, а в своей поздней датировке поэт попросту ошибся, как это не раз бывало. А может быть, в итоге исследователи придут к какой-либо комбинации этих версий...

Так или иначе, без серьезных текстологических изысканий, которые трудно ожидать в ближайшее время, истинное время появления песни на свет так и так не установить. Сейчас обратим свое внимание на другое.

Думается, Владимир Высоцкий вряд ли читал стихи своего ровесника и тезки Фирсова. Хотя произведения последнего в шестидесятые, как и позднее, до скончания СССР, повсеместно рекламировались и расхваливались критиками.

Так или иначе, но фирсовское стихотворение «Моим друзьям» идеально подходит в качестве материала для пародирования некоторых литературоведческих статей о корнях поэзии знаменитого барда. Так заманчиво, следуя поверхностным поискам мифических литературных связей, «выявить» у него реминисценции из приведенного стихотворения! Например — в песнях «Братские могилы» («На каждую могилу — по кресту») или «Песенке о поэтах и кликушах», которую автор еще почти «по-фирсовски» называл «Моим друзьям поэтам».

Дальше больше: в «Прерванном полете» Высоцкий дословно «цитирует» Фирсова: «по чьей вине». А что уж говорить о «Песенке про прыгуна в высоту»! Ее идея будто бы напрямую заимствована у Фирсова:

*...Но лучше вытю зелье с отравою,
Я над собою что-нибудь сделаю —
Но свою неправую правую
Я не сменю на правую левую!*

.....
*Но съел плоды запретные с древа я,
И за хвост подёргал всё же славу я, —
Пусть у них толчковая — левая,
Но моя толчковая — правая!*

Не правда ли, финал у Высоцкого действительно получился прямо-таки «фирсовский». Вспомните:

Мы правые от слова «правота»...

Как будто стихи Фирсова всегда жили в активной памяти барда.
«Смешно, не правда ли, смешно...»

А если говорить серьезно, то мы даже не уверены, что Высоцкий, написав в семидесятом году «Песенку (!) про прыгуна в высоту», сознательно вступил если не в полемику, то (если помягче) в диалог со своим, как он называл Окуджаву, «духовным отцом».

Хотя уж остросоциальную его песенку про *право — лево* «ученик» не мог не знать: она, будучи в шестьдесят седьмом году записана на французскую пластинку, к семидесятому больше многих других была распространена среди владельцев магнитофонов. Из-за изначально студийного качества фонограммы даже после многократных копирований перезапись этой пластинки оставалась разборчивой.

Однако заочный полемический диалог «младшего» со «старшим» случился. И тем самым, не ведая, Высоцкий «вернулся» к Фирсову. На ином, конечно, витке.

Воистину правы те, кто говорит, что за последние века человечеством написано столько, что в наше время сказать что-то совсем оригинальное, и притом не «вляпавшись» в чужой текст, — практически невозможно.

Для завершения сюжета приведем один из шуточных автокомментариев, который Владимир Семенович часто, в разных вариациях, давал в качестве послесловия к «Песенке про прыгуна...»:

Правая и левая стороны здесь употреблены не в переносном социальном смысле, а в прямом, как правая и левая нога.

Тем самым он еще больше акцентировал внимание слушателей на этом *социальном смысле*. И неизменно зал понимающе взрывался дружным смехом.

А нам в адрес подрастающих поколений остается только добавить от себя: слова *правая* и *левая* в этом сюжете, как и во всех процитированных стихах, употреблены в старом, советском их *социальном смысле*, то есть противоположны нынешнему пониманию политического спектра.

Варшава — Париж — Нью-Йорк — Смоленск. О двух неизвестных предисловиях

*Забывтый Богом и людьми, спит офицер в конфедератке.
Над ним шумят леса чужие, чужая плещется река.
Пройдут недолгие века — напишут школьники в тетрадке
про всё, что нам не позволяет писать дрожащая рука...*

В пятом выпуске альманаха «Голос надежды» мы рассказали об истории исключения Окуджавы «из рядов» КПСС*. В числе прочих там были перепечатаны и две статьи некоего И. Игнатьева из старейшей американской газеты «Новое русское слово», до сих пор выходящей в Нью-Йорке на русском языке. В предисловии к альманаху мы высказали предположение, что за этим псевдонимом скрывается польский знакомый поэта, журналист и литератор Игнац (Игнатий) Шенфельд.

Что нам было известно об этом человеке?

С ним Окуджава познакомился еще во время своей первой — туристической — поездки в Польшу, в которую отправился в шестьдесят четвертом с Борисом Балтером и Владимиром Огневым**. Есть также свидетельство, что именно

* См.: «Процесс исключения», 1972: [Разд.] // Голос надежды. Вып. 5. М.: Булат, 2008.

** Об этом знакомстве критик вспоминает в своих мемуарах, см.: Огнев В. Колокольчики Булата // Голос надежды. Вып. 4. М.: Булат, 2007..

Шенфельд в следующий приезд поэта в шестьдесят седьмом рассказал ему правду про *спящих* в Катыни *офицеров в конфедератках* и про то, что стихи «Путешествие по ночной Варшаве в дрожках» появились в ту же ночь*.

Вспоминая о связях антисоветского Народно-Трудового Союза с Окуджавой, многолетний председатель Совета НТС, основатель издательства «Посев» и журнала «Грани» Евгений Романович Островский-Романов писал:

Сейчас мне трудно вспомнить, кто из наших людей впервые познакомился с Булатом Окуджавой. Но хорошо помню, что наши связи завязались и развивались не только за границей, но и в России. Мы специально посылали человека к нему и в Москву, и в Польшу. Там у нас оказался общий знакомый, его переводчик на польский — Игорь Норбертович Шенфельд. Он был одним из лучших русскоязычных переводчиков в Польше и одновременно одной из линий нашей связи с Окуджавой**.

В книге Романова дается и справка об этом человеке:

Шенфельд Игорь Норбертович (1915–1996) — родился во Львове. <...> Свободно владел русским языком. После раздела Польши в 1939 г., остался на советской территории. Вскоре был арестован и отправлен на десять лет в концлагерь. Здесь, а потом в ссылке завязал ряд знакомств с русскими литераторами. Освобожден после смерти Сталина. Вернулся в Польшу и занимался переводческой и издательской деятельностью. <...> В 1960 г. эмигрировал из Польши во Францию (ехал по маршруту Варшава–Вена–Франкфурт–Париж). Через некоторое время устроился работать на радио «Свобода» и переехал в Мюнхен. Печатался в журнале «Грани». Умер в Мюнхене.

* См.: *Трушинович Я.* Вспоминая о встречах с Окуджавой // *Посев.* Франкфурт н/М., 1997. № 5.

** *Романов Е.* Булат Окуджава // *Романов Е.* В борьбе за Россию: Воспом. М.: Голос, 1999. Далее цит. это изд

Справка вызывает вопросы. Во-первых, откуда взялось имя *Игорь*? И во-вторых, в указании на год эмиграции она противоречит непосредственно воспоминаниям: как уехавший из страны в шестидесятом «отщепенец» мог встречаться с Окуджавой в социалистической Польше в шестидесятые годы?

Очень просто: Игорем называли Шенфельда русские друзья, а во втором случае мы имеем дело с банальной опечаткой, ибо на самом деле Шенфельд покинул страну в шестьдесят девятом году. В остальном же приведенные данные совпадают с другими, известными нам источниками.

Можно добавить, что в ранних документах Шенфельда встречается иное написание отчества: *Нотанович*; что он закончил филфак Львовского университета, а печататься начал в тридцать пятом году как поэт и переводчик*; что после Дубровлага до пятьдесят пятого жил в Сибири в статусе ссыльного; был журналистом и литературоведом.

О дружбе Окуджавы с Шенфельдом говорится в упомянутых воспоминаниях Ярослава Трушновича, фактического составителя первой посевской книги «Будь здоров, школяр» шестьдесят четвертого года. В опубликованном докладе КГБ Центральному комитету партии в октябре шестьдесят четвертого года связям писателя в Польше уделено достаточно внимания. Есть там и о контактах с Шенфельдом:

По имеющимся в Комитете госбезопасности материалам, поэт Булат Окуджава в период пребывания в Польской Народной Республике летом 1967 года встречался со многими польскими литераторами, известными своими ревизионистскими и сионистскими взглядами, в частности <...> с ШЕНФЕЛЬДОМ Игнацем, который подозревается в передаче западным издательствам литературных материалов, принадлежащих советским писателям. ШЕНФЕЛЬД проявил большой интерес к ОКУДЖАВЕ, неофициально опекал его, соз-

* См.: Грани. 1989. № 153.

давал условия для установления контактов в литературных кругах и организовывал встречи, носящие частный характер*.

Так или иначе, но на авторство Шенфельда в «НРС» указывает как выбранная фамилия, образованная от имени *Игнатий* или на польский манер *Игнац*, так и само наличие псевдонима. Журналист неоднократно прибегал в эмиграции к их помощи. Например, его статья «Булат Окуджава остается верен себе» в парижской «Русской мысли» в июле семьдесят шестого подписана инициалами *И. Ш.*

И еще один аргумент в пользу авторства именно этого человека — в содержании одной из перепечатанных статей**. Во-первых, перечисляя заграничные поездки Окуджавы, автор выказывает свою осведомленность в части их перечня, но в е д е ошибается в датах. И только три поездки в В а р - ш а в у здесь датированы точно.

И во-вторых, здесь изложены обстоятельства поступка посольства СССР в П о л ь ш е в отношении организаторов ежегодного местного «конкурса для лучших исполнителей советских песен», о которых до того ничего в прессу не просачивалось, а также рассказано о реакции Окуджавы на этот инцидент.

Почему мы так подробно останавливаемся на личности Шенфельда-Игнатьева, станет ясно чуть позже.

Для нас главное сейчас — что в той же статье цитировалось некое авторское предисловие к французскому переводу романа «Бедный Авросимов»***. Мы не смогли найти эту книгу в российских библиотеках, о чем и сообщили читателям.

И вот ксерокопия французского предисловия перед нами. По нашей просьбе этот текст перевела Ольга Дымникова****.

* Цит. по: [Документы КПСС и КГБ об Окуджаве] / Публ. подгот. З. Водопьянова, А. Петров // Труд. 1993. 30 янв.

** *Игнатьев И.* Путь Булата Окуджавы // Новое рус. слово. Нью-Йорк, 1972. 29 июля.

*** *Okoudjava B. Pauvre Avrossimov: Roman / Trad. par. N. Nidermiller. Paris: Albin Michel, 1972.*

**** Благодарим Р. Джагалова, скопировавшего предисловие из книги 1972 г. в библиотеке Конгресса США, а также О. Дымникову за перевод и консультации по тексту.

Надо подчеркнуть, что она переводила его, не зная о русскоязычной публикации фрагментов. При сравнении «обратного» перевода с цитатами из статьи Игнатьева выяснилось, что данные цитаты... вряд ли могут быть переводом этого слегка упрощенного французского «оригинала».

Другими словами, автор статьи, вероятнее всего, и цитировал русский оригинал, который был переведен кем-то для французской книги! К счастью, этот предполагаемый оригинал был процитирован Игнатьевым практически полностью.

Вот этот текст, который мы реконструировали, добавив в него отсутствующие в «НРС» фрагменты в обратном переводе Ольги Дымниковой — они взяты в угловые скобки:

Вместо предисловия

Мне всегда казалось, что я живу с опозданием. <Возможно, мои ровесники и я, мы должны были быть рождены в начале этого века, чтобы в зрелом возрасте принять участие в Гражданской войне, в бурной литературе двадцатых годов... Да, быть может...

Но судьба решила иначе.> Ранняя юность моя совпала с временами культа личности, а зрелые годы — с его разоблачением. Начало моей литературной работы — с застоєм в литературе, с подавлением инакомыслия.

Расцветал конформизм. Не обошел он и меня.

<Но, слава Богу, я родился на Арбате. Вероятно, это позволило мне (хотя с запозданием) стать в главной мере самим собой.>

В Калуге, где я жил одно время, работая учителем, и где не было пишущих стихи, кроме меня, я считался лучшим поэтом! Я писал стихи к праздникам и публиковал их в местных газетах. Меня хвалили власти, потому что я никого не беспокоил, и у меня кружилась голова от сознания собственной гениальности. Я писал стихи, не сверяя их, конечно, с мировыми образцами; получал свои маленькие гонорары; приобретал на это

свои маленькие радости и лопался от самодовольства. Я презирал в искусстве и литературе все, что было хоть в малейшей степени уходом от общепринятых норм; и если бы тогда мне встретился известный афоризм Ежи Леца: «Его ставят в пример, говоря, что он мыслит как все», я бы воспринял это без улыбки. Я был тогда восхитительно невежествен, и меня, к сожалению, некому было за это бить.

Теперь я думаю: слава Богу, что я был просто невежда, а не образованный и сознательный злодей, ибо стоило времени перемениться, стоило серьезным людям разнести мое творчество в пух и прах, как я стал горько задумываться над своим прошлым и будущим. Был бы я сознательным и циничным приспособленцем — никакое битье не заставило бы меня свернуть со своего пути, удобного и благополучного.

Я долго после этого не писал стихов. Я не мог найти свое место... Затем стал писать заново. Тогда мне уже было тридцать три года.

Любовь к фольклору, появившаяся во мне, вызвала желание напевать некоторые стихи под аккомпанемент гитары. Я придумывал мелодию и, почти не умея играть на гитаре, почти не умея петь, не зная нотной грамоты, стал напевать свои стихи, не представляя, какой в скором времени разразится скандал.

<Вначале я пел для моих друзей, затем — для знакомых, потом — перед знакомыми друзьями; потом — перед знакомыми знакомых, и так далее.>

Мне очень приятно было петь о том, что волновало меня: о том, что война — это не праздник и не парад, а странная и нелепая необходимость, что женщина — это прекрасно, что Москва — удивительна, грустна и не всегда счастлива, а мне, московскому муравью, тоже не всегда и не во всем выпадает удача, что Бумажный Солдатик не всегда, к сожалению, может сделать так, чтобы мир был счастлив<; что Ленька Королев ушел на фронт, был убит и что он никогда, никогда больше не вернется!>

Я пел об этом, а оказалось, что это волнует и других, и не потому, что это гениально, а просто потому, что до этого

в большом ходу были песни официальные и полуофициальные, холодные, в которых не было судьбы; песни, проникнутые дешевым бодрячеством (это называлось оптимизмом), примитивными стандартными риторическими мыслями о Москве, о человеке, о родине (это называлось патриотизмом).

Гитаристы обвиняли меня в бездарности, композиторы — в отсутствии профессионализма, певцы — в безголосье, а все вместе — в нахальстве, наглости и пошлости... А официальные лица — в пессимизме, в антипатриотизме, в пацифизме... Их поддержала пресса.

Но я остался цел, так как к тому времени был уже достаточно взросл и многому уже знал цену, а кроме того, пел о себе и своем поколении, да еще было у меня много друзей, мудрых и взрослых, и строгих.

Пришлось, как говорится, вышибать клин клином. И мне, кажется, в какой-то мере удалось осуществить это. Постепенно ко мне привыкли... Поняли, что в чем-то (по сути) я прав, так как жизнь моего поколения не так гладка, безоблачна и бездумна, как это кое-кто пытается проповедовать.

Теперь пресса меня не ругает, но и не хвалит. Предпочитает молчать. Если бы мне было двадцать лет, я, наверное, сошел бы с ума от такого невнимания к своей персоне, но мне уже сорок два года, тщеславие мое давно удовлетворено, а невнимание прессы не действует на меня отрицательно. Я уверен в одном: главное в жизни каждого, а особенно в жизни литератора — это засучить рукава и успеть совершить то, что ему предназначено. Были бы чисты помыслы, были бы чисты небеса, были бы чисты руки, а остальное все — приложится...

<Я прочел это маленькое хаотическое предисловие моей жене, и она горячо укорила меня в отсутствии самой элементарной скромности.

Тогда я его перечитал и ответил ей: все, что я рассказываю о себе самом, ничуть не исключает серьезных ошибок и недостатков в моей литературной работе, что это естественно, как и для всякого другого работающего в любой сфере.

Это все, что я сказал моей жене. А вы, когда будете читать мою книгу, сможете судить по ней о самих себе, но, прошу вас, в одиночестве. Без посторонней помощи.>

Май 1967. Булат Окуджава

И в заключение еще одна версия.

Обратим внимание на дату предисловия. Через два месяца, в июле того же года, Окуджава второй раз едет в Варшаву, уже с женой. Повод и причина поездки, как рассказал читателям одного польского журнала сам Шенфельд, — подготовка переводной книги «Избранная поэзия»*.

Книга вышла. И не одна, а две. И обе при живейшем участии Шенфельда. Обе они, как, впрочем, и парижское издание семьдесят второго года, значатся в библиографическом списке Чайковского и Киприной**:

Выяснилось, что первая вышла в издательстве, где работал Шенфельд, в феврале, вторая — в конце года. Именно для подготовки второй в этот промежуток времени и приезжал Окуджава.

Шенфельду, кроме прочего, принадлежат обе вступительные статьи.

Однако, как мы полагаем, ко второй книге могло быть написано авторское предисловие, которое по каким-либо причинам (вариантов много) не вошло в нее. Если так, то почему бы Окуджаве не сочинить его за пару месяцев до поездки?.. Согласимся, что это гораздо логичнее, чем в шестьдесят седьмом написать предисловие о песнях — к роману, который к тому же только через год, будет дописан, а еще через четыре, в семьдесят втором, издан по-французски с этим предисловием, в котором, повторим, нет ни слова о прозе!

* *Szenfeld I. Miesiac z Bulatem Okudzawa w Polsce // Nowa wies. Warszawa, 1967. № 33. (Пер. К. Круглых).*

** Материалы к библиографии изданий поэзии и прозы Булата Окуджавы в переводах на иностранные языки / Сост.: Р. Р. Чайковский, С. В. Киприна // Б. Окуджава / Каф. нем. яз. Сев. междунар. ун-та; Под ред. Р. Р. Чайковского. Магадан: Кордис, 2002. (Перевод и переводчики: Науч. альм.; Вып. 3).

Если наше предположение верно и предисловие имеет «польские корни», то не вызывает сомнений, что Шенфельд имел этот текст. А также, владея несколькими языками, в том числе и французским, мог его перевести.

Логично также предположить, что после эмиграции во Францию он вполне мог передать его местным издателям. Вспомним сведения противоборствующих сторон: «занимался переводческой и издательской деятельностью» и «подозревается в передаче западным издательствам литературных материалов, принадлежащих советским писателям».

И в этом случае тем более он имел возможность и необходимость, ссылаясь на французскую публикацию, цитировать именно русский оригинал.

Будем надеяться, что его подлинный текст еще обнаружится. Где-то должны дожидаться публикации и письма Окуджавы своему польскому переводчику.

...А сам Окуджава в начале девяностых написал еще одно предисловие. На этот раз — к отдельному изданию книги воспоминаний Игнатия Шенфельда «Раввин с горы Кальвария». Книга вышла в Смоленске за два года до смерти автора. В основном она посвящена Вольфу Мессингу, с которым автор сидел в одной камере внутренней тюрьмы НКВД Узбекистана. Есть в этой книге и автобиографическая проза. А мы узнали о ней только в процессе написания этой заметки.

Вот как начинается окуджавское предисловие:

Прочитайте эту книгу. Прочитайте. Она об уже далеких временах, но она о нас с вами. Ее написал мой давний друг, хлебнувший полной мерой из чаши бытия и не потерявший человеческого достоинства. Она написана без претензии на исключительность и глубину обобщений, но в ней есть то, из чего возникали ростки нашей трагедии...

И это правда. Раньше бы сказали что-то вроде: «автор вернулся в Россию своими книгами».

Вот это — неправда.

«Лолита» и «КГБ»

*Как хорошо, что уехал Набоков,
тайны разлуки ни с кем не деля.
Как пофартило! А скольких пророков
не защитила родная земля!*

*Был этот фарт ну не очень-то сладок.
Как ни старалась беда за двоих,
всё же не вытали в мутный осадок
тернии их и прозрения их.*

В две тысячи девятом году увидела свет новая статья пионера окуджавоведения Светланы Бойко, посвященная литературным связям Окуджавы и Набокова*.

Статья обстоятельная и доказательная, потому очень убедительная. Основное место в ней уделено влиянию романа «Лолита» на роман «Путешествие дилетантов», а точнее на полемику вокруг последнего, с «Лолитой» связанную. Окуджава действительно еще в те времена, когда книги Набокова были в СССР под запретом, на своих публичных выступлениях называл его имя среди своих учителей.

Однако к этой — вступительной — части статьи есть, что добавить. Впервые в п е ч а т н ы х интервью поэта это «нежелательное» для советской прессы имя чудом проскочило еще в восемьдесят третьем — в «отраслевом» журнале**. Уже в Перестройку в прессу впервые попало и высказывание об

* Бойко С. Владимир Набоков и Булат Окуджава: к проблеме литературной репутации // Вестн. РГГУ. 2008. № 9. Сер. «Литературоведение. Фольклористика».

** «Серьезный человек, играя в шахматы, участвуя в этой драме, начинает думать о себе самом — все должно быть как в жизни. Я убежден, что шахматы — совсем не сухая математика и, конечно же, не спорт. Вспомните “Шахнаме” Фирдоуси, написанное еще в IX веке, и “Такраб” Я. Эйхенбаума, и “Шахматную новеллу” С. Цвейга, и “Защиту Лужина” В. Набокова. Игра стала канвой для серьезных размышлений о судьбах людей, при помощи шахмат оказалось возможным рассказать о состоянии души человека» (Окуджава Б. «Если бы я был шахматистом...» / Интервью взял И. Мильштейн // Шахматы в СССР. 1983. № 4.).

«учителях»^{*}. Известен и немногим более развернутый, чем обычно, ответ Окуджавы на ту же тему:

*В моей прозе мистических, «роковых» мотивов довольно много, мне они дороги, потому что если говорить о моих учителях-прозаиках — это прежде всего Гофман. Затем — Александр Сергеевич, Лев Николаевич. Ныне почти забытый Сетон-Томпсон. И Набоков, у которого меня очень привлекает парадоксальное отношение к миру и персонажу^{**}.*

Еще два признания прозвучали в диалоге девяносто четвертого года:

— *А Набокова любите?*

— *Да, почти всего.*

— *Мне кажется, что его язык искусственный, не связан с русской землей.*

— *Это неважно. Он меня восхищает своим риском^{***}.*

В девяносто пятом—девяносто шестых годах в России в двух различных переводах вышел роман «Ада», написанный еще в шестьдесят девятом^{****}, и из него отечественные читатели узнали, что Набоков одобрительно процитировал одну из песен Окуджавы.

^{*} «В поэзии — Пушкин, Киплинг, Пастернак, Ахматова, Заболоцкий, в прозе — Пушкин, Гофман, Лев Толстой, Набоков, в песне — фольклор» (Окуджава Б. «Прошло и словом стало...» / Записал И. Мильштейн // Студен. меридиан. 1986. № 11.).

^{**} Окуджава Б. Черная надежда: Путешествие дилетантов на свидание с Бонапартом / [Беседовал] Д. Быков // Собеседник. 1992. Янв. (№ 2).

^{***} Окуджава Б. «Я делал то, что я хотел» / [Беседовал] Ю. Глазов // Континент. № 92. Париж; М., 1997. № 2 (апр. — июнь).

^{****} Набоков В. В. Ада, или Страсть: Хроника одной семьи. Роман / Пер.: О. Кириченко, А. Гиривенко, А. Дранов. Киев: Аттика; Кишинев: Кони-Велес, 1995. 608 с.; Набоков В. В. Ада, или Радости страсти / Пер. С. Ильина. М.: ДИ-ДИК, 1996.

Добавим еще, что до нас дошла реакция Окуджавы на этот факт. На вопрос журналиста «А вы знали, что Набоков процитировал вас в “Аде”?» — поэт ответил:

Мне еще в семидесятых годах прислали книгу, и я знал об этом. Там цитируется «Сентиментальный марш». Я, конечно, очень обрадовался, но написать ему не решился.*

Однако при перечитывании статьи Бойко бросился в глаза такой фрагмент из приведенного ею так называемого «автобиографического» рассказа Окуджавы:

*На следующий день под вечер явился Эдик с большой сумкой, набитой книгами. Четыре тома Гумилева Иван Иванович сразу же отложил в сторону и принялся разглядывать остальные. Обложки жгли руки. Одно название было замечательнее другого. Мысль о том, что это предосудительно, пока не возникла. Пальцы дрожали от возжеления и фантастичности происходящего. «Портреты революционеров» Л. Троцкого, «КГБ» Д. Баррона, «История русской смуты» А. Деникина, «Смысл истории» Н. Бердяева, «Лолита» В. Набокова и множество других, столь же прекрасных и бесценных! О любопытство, что сильнее страха! О искушение, сладчайшее и непреодолимое! О чудо, сотворенное его песенками, чем же еще?!***

Напомним, что Иван Иванович тут — сам автор.

Не то чтобы цитата показалась мне неизвестной, но в контексте исследования она потребовала комментариев.

Дело в том, что книга Дж. Баррона (так, с удвоенной *p*, пишется эта фамилия и на английском, и на нашем языке) в начале восьмидесятых недолгое время продержалась и в моей библиотеке. Недолго — поскольку после того, как я приобрел

* Окуджава Б. Любить государство невозможно! / Встречался Д. Быков // Веч. клуб. 1997. 20–26 марта.

** Окуджава Б. Выписка из давно минувшего дела // Окуджава Б. Заезжий музыкант: Проза. М.: Олимп – ППП, 1993.

этот толстый том у моего товарища «втемную» и ознакомился с его содержанием, я понял, что овчинка не стоит того, чтобы получить «срок». Тем более — за хранение книги, содержание которой лежит вне моих магистральных интересов: вполне хватало и ее прочтения. К тому же те пятьдесят рублей, которые я за нее отдал (почти ползарплаты!), не были лишними в личном бюджете.

За эту же сумму книга ушла другому моему товарищу, который тоже прочел ее с большим интересом и тут же избавился за те же «переходящие» полста.

Книга по тем временам и впрямь справедливо считалась, как говорилось, «посадочной»: в ней не только содержались подробные сведения о структуре Всесильного Комитета, но также подробно описывались средства и способы вербовки стукачей. А такая информация, естественно, была совершенно секретной.

«Выписка из давно минувшего дела», согласно авторской датировке, написана в девяносто первом году*, а действие в ней разворачивается в шестьдесят восьмом. Автор рассказа прячется за вымышленного героя — Ивана Ивановича — недаром. То, что писатель допускает в своей «автобиографической» прозе вольные обобщения, общеизвестно**. В очередной раз мы встречаемся именно с таким случаем.

Дело в том, что в те времена, которые описывает Окуджав в рассказе, книга Баррона еще... не была написана***. И это бросилось в глаза.

* Впервые: Знамя. 1992. № 7.

** См., например, о несоответствиях в рассказе «Ода литобъединению»: Крылов А. Е. Размышления о самоиронии, корректности цитирования, агглютинации и конфабуляции, или О том, как и когда молодые поэты «били» Булата Окуджаву // Голос надежды. Вып. 6. М.: Булат, 2009. Там же приведены избранные высказывания Окуджавы о степени достоверности его «автобиографических» рассказов.

*** Впервые на Западе и в России: *Barron J. KGB: The Secret Work of Soviet Agents*. London, 1974; То же [по-русски]: *Баррон Дж. КГБ: Работа советских секретных агентов*. Тель-Авив: ЕФФЕСТ, [1978]; *Баррон Дж. КГБ сегодня: невидимые щупальца*. СПб.: Петрополис, 1992.

Подтверждением не ошибки памяти писателя, а именно присутствия в рассказе художественного вымысла служит и высказывание писателя на ту же тему и озвученное практически в то же время, когда писался и печатался рассказ, но уже — в беседе с корреспондентом «Литгазеты»:

На станции Чоп [на границе. — А. К.] в восемьдесят пятому году меня очень жестоко обыскивали. До этого я не раз был за границей, но ничего похожего никогда не случилось. <...> Я вез запрещенную литературу, которая сейчас издается очень широко. <...> Когда осматривали купе, обнаружили одну книжку, стали рыться — нашли другие. Там была, например, «История царской семьи», которую мне подарили в Германии, она нужна была для работы. Кроме того, я купил книги: Восленского «Номенклатура», Баррона «КГБ», вез также Солженицына — «Бодался теленок с дубом» и другие. Их забрали и не вернули. <...> Меня сняли с поезда и в течение целого дня обыскивали со страшной силой, даже зубной порошок пальцами проверяли. Последовали объяснения, мягко стыдили в Союзе писателей, потом и это заглохло, как-то спустилось на тормозах...***

Теперь понятно, что такой исход, каким он описан в беседе с Ириной Ришиной, для Окуджавы можно считать везением. Возможно, подоспела та самая пресловутая Перестройка, которую у нас принято числить с апрельского пленума ЦК КПСС.

Но тут интересно другое. В этом воспоминании о событиях семилетней давности авторская их датировка выглядит более вероятной: очередной раз исследование «КГБ» вышло в издательстве «Время и мы» в восемьдесят четвертом; в том же году была переиздана и мемуарно-документальная книга

* Книга нами не идентифицирована. — А. К.

** Окуджава Б. Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем...: Разговор на фоне новой книги / Беседует И. Ришина // Лит. газ. 1992. 5 февр. (№ 6). Для удобства восприятия и в целях восстановления хронологии событий фрагменты интервью переставлены нами.

Солженицына^{*}; том Восленского на русском языке в восемьдесят пятом был и вовсе новинкой^{**}.

То есть когда книга Баррона была привезена из-за границы, писатель хорошо помнил: в *восемьдесят пятом* году и в составе совсем другого «набора». Как видим, мемуарист Окуджава более точен в своих высказываниях, чем Окуджава-прозаик.

Кстати, даже если бы (допустим) книжка Баррона увидела свет много ранее, поэт вряд ли попытался бы ее провезти через границу в шестьдесят восьмом, когда чувствовал себя в качестве заграникомандировочного не так уверенно, как в восемьдесят пятом.

Иное дело — более безопасный Набоков. Он хотя, с одной стороны, и числился на родине по разряду эмигрантов, то есть «предателей», однако, с другой, не был «замаран» публичными «антисоветскими проявлениями», и «Краткая литературная энциклопедия» в том же шестьдесят восьмом году даже при благосклонности политической цензуры поместила статью о нем.

Так что, судя по этой статье, с первой стороны «книги Н. отмечены чертами лит. снобизма... Стиль его отличается вычурностью...», зато со второй — его творчество «носит крайне противоречивый характер», а «наиболее интересные» его произведения отражают «процесс духовного озверения буржуа»^{***}.

Но какое все-таки место здесь занимает «Лолита»? Вернемся к ней.

Список книг из «Выписки...» Светланы Бойко датирует по контексту описываемых событий, — отсюда и дата знакомства с книгой, на которую опирается автор: *тысяча девятьсот шестьдесят восьмой*. Это безусловно справедливо. Во всяком случае, более достоверным источником, чем рас-

* *Солженицын А. И.* Бодался теленок с дубом: Очерки лит. жизни. Paris: YMKA-Press, 1984. (Впервые — 1975.)

** *Восленский М.* Номенклатура: Господствующий класс Совет. Союза. London: Overseas Publ. Interchange Ltd., 1985. (Впервые на английском — 1980.)

*** См.: *Михайлов О., Чертков Л.* Набоков Владимир Владимирович // Краткая лит. энцикл.: [В 9 т.]. Т. 5. М.: Совет. энцикл., 1968. Кол. 60–61. (Далее — КЛЭ.)

сказ, на сегодняшний день мы не располагаем. Поэтому и не имеем оснований оспаривать сроки и вынуждены верить автору рассказа.

Издания Бердяева, Деникина, Троцкого вполне укладываются в эту хронологию. Упомянутый в рассказе четырехтомник Гумилева мог оказаться неполным, поскольку его четвертый том датирован тем же шестьдесят восьмым годом*, и успел ли он выйти в январе, нам не известно. Впрочем, это мелочь, которая не требует дополнительных поисков, поскольку по большому счету также не противоречит написанному.

Добавим, что за этих «поверженных врагов советской власти» тоже посадить не могли: мертвых, которые не могли возразить, в СССР больше принято было задним числом «приручать», в крайнем случае — замалчивать.

Вопрос стоит так: мог ли вообще Окуджава привезти в тот год из Германии набоковскую «Лолиту»? И если мог, то — какое ее издание?

Выясняется, что — да. И именно первое издание романа на русском языке, над переводом которого Набоков трудился самолично. Вот эта книга, написанная, кстати, по-английски в пятьдесят пятом, вышла в Нью-Йорке в шестьдесят седьмом году.

То есть роман вышел незадолго до той самой поездки Окуджавы в Германию, которая, как установлена точно, состоялась в я н в а р е ш е с т ь д е с я т в о с ь м о г о **. Между прочим, цена на это редкое издание сегодня колеблется у букинистов от полутора до пяти тысяч долларов.

Остается проверить гипотезу доступными нам средствами. Бойко цитирует воспоминание Рассадина о томике «Лолиты», подаренном ему Окуджавой***. Слава богу, нет ничего проще —

* См.: *Гумилев Н.* Собрание соч.: В 4 т. / Под ред.: Г. П. Струве, Б. А. Филиппова. Вашингтон: Кн. магазин Victor Kamkin, Inc., 1962–1968.

** См.: Мюнхен, 1968: [Разд.] // Голос надежды. Вып. 5.

*** См.: Мюнхен, 1968: [Разд.] // Голос надежды. Вып. 5.

уточнить у автора мемуаров. Позвонить!.. Ведь может случиться так, что подарен был совсем другой экземпляр...

Но увы, года четыре назад кто-то эту книгу у Станислава Борисовича «заиграл», а года ее издания он не вспомнил.

Станет ли исследователям когда-нибудь доступно достоверное описание библиотеки Окуджавы — большой вопрос. А пока выяснить, оставалось ли в ней какое-либо другое издание «Лолиты», для нас представляется невозможным.

Окуджава — переводчик прозы

*...В России всегда была очень сильная переводческая школа, а на Западе перевод стихов — средство заработка. Поэтому там переводами занимаются зачастую люди, не имеющие поэтического дарования. В России же во все времена переводами занимались крупные поэты.
Из интервью И. Наумову, 1994*

Переводческой библиографии писателя пока не существует. Наблюдается даже некий «перегиб и парадокс»: этой стороне собственно творческой работы Окуджавы уделено гораздо меньше внимания в исследовательской литературе, чем истории переводов его стихов на иностранные языки*. Точнее было бы сказать, что статей об Окуджаве-переводчике практически нет**.

В ожидании, когда у библиографов дойдут руки до этой области творческого наследия писателя, исследователи могут пользоваться лишь тремя источниками:

* Здесь необходимо назвать фамилии следующих авторов, преуспевших в такого рода исследованиях: О. Ю. Веселяева, К. С. Врублевская, С. В. Киприна, А. Е. Крашенинников, Н. В. Кошелева, И. В. Курьянова, П. Лигенза, Е. Л. Лысенкова, Л. Мазур-Межва, М. А. Раевская, С. Б. Христофорова и, конечно, Р. Р. Чайковский

** Здесь мы можем назвать лишь одну недавнюю работу: *Оскоцкий В. Д. Булат Окуджава — переводчик: (Из наблюдений. Заметки)* // *Миры Булата Окуджавы: Материалы Третьей междунар. науч. конф...* М.: Соль, 2007.

малодоступным библиографическим списком Межакова-Корякина*, имеющим соответствующий раздел, который охватывает период 1957–1970 годов;

известной библиографией Ханукаевой, имеющей в своем составе лишь список переводившихся Окуджавой поэтов, который сгруппирован по языкам;

своими личными собраниями и наблюдениями.

Безусловно эти источники не только не могут охватить все переводческие труды писателя, но и даже приблизиться к исчерпывающим знаниям об этом роде его творческой деятельности. Первый список, например, ограничен теми источниками, которые попали к австралийскому исследователю во время его пребывания в СССР в семьдесят первом году, и нуждается в существенных дополнениях даже в рамках своего периода. Довольно представительный список Ханукаевой тоже уже сейчас может быть пополнен тремя фамилиями: Калачинский (белорусский язык); Албу и Балтазар (румынский).

В контексте темы можно вспомнить и известный ныне дружеский Поступок Окуджавы, когда он опубликовал сборник переводов гонимого Юлия Даниэля под своей фамилией**. По разным причинам эта книга не попадает ни в какие библиографии, поэтому приведем ее описание***:

Обратимся также к тому, что сам Окуджава говорил в беседах о литературных переводах и работе переводчика, — в том числе и о своей собственной:

...Вообще моя жизнь литературная сложилась очень удачно. Если не считать каких-то переводов в начале моей деятельности ради денег, все, что я делал, я делал — по любви,

* Межаков-Корякин И. И. Библиография // Melbourne slav. stud. 1972. № 7. (Прилож. к ст.: Особенности романтизма в поэзии Булата Окуджавы).

** Впервые об этом: Даниэль А. Даниэль под псевдонимом Окуджава // Лит. газ. 1992. 25 марта (№ 13).

*** Варужан Д. Стихи / Пер. с арм. Б. Окуджавы. М.: Худож. лит., 1984. 224 с. Формат 84х108/64. Тир. 10 000 экз. — Откл.: Халатова К. В переводе Б. Окуджавы // Коммунист. Ереван, 1985. 14 мая.

да за это еще и деньги получал. Это большое счастье, потому что не всем это удается.

Ну я не переводчик, в общем, по-настоящему. Я занимался переводами на заре своей деятельности, когда нуждался в деньгах. Это был единственный способ зарабатывать на жизнь. И я переводил. Особенно я любил переводить, ну допустим, с корейского языка современных корейских поэтов. А значит, это можно было переводить, не тратя серого вещества — в большом количестве. А так как деньги платили за хорошее и за плохое одинаковые, то я предпочитал переводить плохое, и принес очень большой вред нашей литературе, конечно, в свое время. Когда это поняли, мне стали платить нормальные деньги, и я перестал заниматься переводами.*

*...Тогда было широкое издание переводной литературы. Нужно было показать, что и у нас с литературой все обстояло благополучно. Кроме того, это давало деньги. Был период, когда меня не печатали, и я не плохо жил на переводы. В советской показухе были и положительные моменты**.*

В данных цитатах речь идет о времени после возвращения поэта в Москву в конце пятьдесят шестого года. Как обычно у Окуджавы, его воспоминания о собственном прошлом окрашены в иронические тона. Заметно, что он не ставит в один ряд свою работу и работу своих коллег, словно исключая себя из того высшего разряда, о котором с пиететом говорит в нашем эпиграфе.

Более того, собственные переводы в его ответах накрепко связаны не с творчеством, а исключительно с заработком — «как на Западе». Между тем оставим эти уничижительные самооценки без комментариев, — сосредоточимся на другом.

* Оба фрагмента цит. по: Окуджава Б. «Я считаю себя русским писателем...»: [Автобиография по авт. фонограммам выступлений и интервью] / [Подгот. А. Петраков] // Вагант-Москва. 1997.

** Окуджава Б. Все глуше музыка души... / [Беседовали И. и М. Столяр] // АПАРТ. 1996. Вып. 4 (окт. – дек.).

Общее представление о короткой — примерно до середины шестидесятых годов карьере переводчика, тоже основано на таких же устных рассказах Мастера.

Приведем еще один, не столь ироничный:

...Отношусь я очень положительно — как я могу относиться к переводам вообще?! Лично сам я сейчас <этим> не занимаюсь, к счастью, потому что переводчик я плохой, — для этого нужно иметь особый дар. Конечно. Когда-то я переводил, когда мне необходимо было зарабатывать. Теперь я зарабатываю другими средствами, и мне это, к счастью, не нужно. К счастью. Для таких людей, как я — неподготовленных к этому и неспециалистов, — это изнурительный труд, конечно.

И действительно, согласно таким рассказам, долгое время считалось, что в дальнейшем к переводческой работе Окуджавы не возвращался. Однако Раиса Абельская обнаружила и проанализировала переводы Окуджавы из Иммануила Римского*.

Первоначально мы усомнились в их авторстве, некритично опираясь на приведенные слова поэта, а памятуя об истории с Даниэлем, предположили в данном случае аналогичную ситуацию, о чем опрометчиво сообщили в сноске к библиографическому списку**.

* См.: Абельская Р. III. Об одном опыте Булата Окуджавы — переводчика // Дергачевские чтения — 2000: Рус. лит.: нац. развитие и регион. особенности. Материалы Междунар. науч. конф. 10–11 окт. 2000 г. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. С. 15–18; То же [сокр.]: Абельская Р. III. Булат Окуджавы — переводчик Иммануила Римского // История. Обществознание. Искусство. Филология: Материалы науч.-практ. конф. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. С. 95–97. (Лицейс. б-ка; Вып. 4).

** См.: Булат Шалвович Окуджавы: Материалы к библиогр. (1999–2000) / Сост. А. Е. Крылов, В. Ш. Юровский. // Голос надежды. [Вып. 1]. М.: Булат, 2004. С. 419. Пользуясь случаем, приносим свои извинения автору статьи и читателям. — А. К., В. Ю.

Позднее ознакомление с первоисточником, а особенно с приведенным факсимильным текстом одного из переводов*, убедило нас в их принадлежности именно Окуджаве.

Поэт, как считают некоторые исследователи, не лукавил — он просто не придавал этой своей периодической работе значения. Некоторые его автокомментарии под новым углом зрения и впрямь оказалось возможным трактовать в пользу того, что ранним периодом его переводческая деятельность не ограничивалась. Разрядка наша:

*Мне кажется, что переводы требуют огромной сосредоточенности, постоянных творческих усилий, здесь необходимо всегда быть в форме. У нас в России существует замечательная школа перевода, достаточно вспомнить имена Пастернака и Лозинского. Я с наслаждением читаю переводы Юнны Мориц и Давида Самойлова, но сам занимаюсь этой работой нечасто, лишь в силу сложившихся обстоятельств**.*

Однако пока разговор у нас шел исключительно о поэтических переводах.

А вот о прозе, переведенной Окуджавой на русский язык, до недавнего времени библиографам вообще ничего не было известно. Тем не менее в нашем собрании появились сразу три таких издания.

Одно из них: *Чангмарин. Месть Тауро. Рассказы.*

Заметим, что книгу стихов этого панамского писателя Окуджава перевел и издал еще раньше***, когда у него начался очередной период «поиска себя» в литературе или по-

* См.: *Иммануил Римский. [Стихи] / Пер. [с древнееврейс.] Б. Окуджавы // Год за годом: Лит. ежегодник. Вып. 4. 1988. С. обл. 2, 307–308*

** *Окуджава Б. Ах, Арбат, мой Арбат... / Беседу вела Л. Леплейская // Черномор. здравница. Сочи, 1985. 17 дек.*

*** *Чангмарин К.-Ф. Песни Панама / Пер. с исп. [и предисл. Б. Окуджавы]. М.: Изд-во иностр. лит., 1963. 112 с.*

иска литературных заработков, — кто знает, что в тот момент для писателя было важнее...

На тот период приходится: написание автобиографической повести, соавторская работа над киносценарием и попытка создания собственного, работа над романом и даже единственная в своем роде проба сил в написании рассказа неавтобиографического. И вот стало известно еще и переводах прозы.

Не исключено, что Чангмарин прельстил своего переводчика схожестью биографий: панамец был не только его сверстником (р. 1922), прозаиком и поэтом, но еще, как Окуджава, в прошлом работал учителем, а также... сам сочинял музыку к своим песням*.

Две других находки можно определить как еще менее ожидаемые:

Сборник Хаджи «Дети Самура», вышедший в серии «Первая книга в столице» и объединивший четыре повести, похоже, открыл этого писателя** не только русскому, но и лезгинскому читателю. До этого ему удалось опубликовать на родном языке только два небольших своих произведения. После столичной книги вошедшие в нее повести стали активно издаваться и в Дагестане.

В частности, там перепечатали и одну повесть «Самая длинная свадьба» в переводе Окуджавы.

Знаменателен год издания московской книги. По датам ее сдачи в набор и подписания в печать мы можем предположить, что работа над ней началась как минимум в конце семьдесят четвертого — в сложных для Окуджавы обстоятельствах.

* Ср. сказанное по другому, но сходному поводу: «Я, например, знаю и люблю Брассанса. <...> Тем более, что для меня Брассанс относится к нашему жанру — поэт, поющий свои стихи» (Окуджава Б. Все глуше музыка души...).

** Гаджиев (Хаджи) Расим Гаджиевич (1941–2008) — был бурильщиком, рабочим, корректором, редактором; окончил Литинститут. По общему признанию, один из самых талантливых дагестанских писателей. Его произведения переведены на английский, немецкий, французский, финский, польский и другие языки. Жил в Махачкале.

Что же это за обстоятельства?

В семьдесят втором году начались события, связанные с его исключением из партии, длившиеся с марта по ноябрь, но потянувшие за собой долгий шлейф последствий. В письме болгарскому журналисту и литератору Любену Георгиеву поэт пишет:

Человек предполагает, а бог располагает. Думал ехать к вам, а тут выскочила поездка в Баварию. Много выступал по четырнадцати городам, как бродячий цыган, и теперь ни о каких поездках думать нельзя — нужно прятаться от всякой суеты и дописывать роман. Кстати, мои дела наладились, и я могу просто через Союз писателей ехать к вам отдыхать. Как-нибудь воспользуюсь.*

Поездка в Баварию, дела наладились — это как раз про окончание затянувшегося периода мести властей за строптивость, за то, что исключение из КПСС так и не состоялось по внешним, не зависящим от них причинам**. Отсюда и появившаяся возможность давно ожидаемого выезда в Болгарию.

Обратимся к началу эпопеи с исключением и процитируем агентурные данные КГБ, относящиеся к началу лета семьдесят второго года.

Окуджава сказал, что на ближайшие пять-шесть месяцев денег у него хватит, кроме того, он надеется подработать переводами и в кино. На договора с ним сейчас якобы никто не идет, но он пишет тексты для кино и получает за это деньги. Причем оформляется эта работа, по его словам, от имени других лиц***.

* Окуджава Б. «Привлекают ме обикновените личности, оказали се в необикновени обстоятелства» // Георгиев Л. Съветски писатели отблизо: Литературни портрети. Варна: Георги Бакалов, 1984. С. 78–125. Обратный пер. М. А. Раевской см.: Меня привлекают обычные люди, оказавшиеся в необычных обстоятельствах // Голос надежды. Вып. 7.

** Подробнее см.: «Процесс исключения», 1972: [Разд.] // Голос надежды. Вып. 5. С. 267–318.

*** Цит.: Там же. С. 306–307.

Тексты для кино... от имени других лиц — это, в частности, и история с песней для кинофильма «Дела давно минувших дней», рассказанная поэтом Евгением Храмовым*. Однако в процитированном доносе для нас опять ключевое слово — *переводы*. Так что возможно, «Дети Самура» — это как раз результат той работы, на гонорар от которой поэт рассчитывал выживать в сложный для себя период — его окончание было непредсказуемым. А переводческий гонорар за книгу, надо сказать, в шестидесятые—восьмидесятые был сопоставим с собственно авторским.

Однако тут все не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Биографам известен еще один такой же случай, как с Даниэлем, когда наоборот, в спокойные для своего творческого существования моменты Окуджавы прикрывал своим именем опальных друзей. Мы имеем в виду историю с публикацией статьи Льва Копелева, готовившегося к эмиграции, о докторе Гаазе в «Науке и жизни» в восьмидесятом году. Ее до сих пор в различных интернет-списках и статьях атрибутируют как окуджавскую.

В свое время на нашу просьбу вспомнить о том, связаны ли с его именем другие подобные истории, Окуджавы ответил, что не помнит**. Таким образом, вопрос остается открытым.

Вспомним и слова Окуджавы, также касающиеся переводов, но сказанные в контексте разговоров о жене и соавторе — Ольге Арцимович:

*По образованию она физик, но физика помешала ей мыть кастрюли и она начала помогать мне в литературной работе. Будучи человеком от природы необычайно одаренным, стала писать стихи и делать талантливые переводы***.*

* Храмов Е. Из «Записок десантника» // Голос надежды. Вып. 2. М., 2005. С. 17–18.

** См.: Окуджавы Б. «Я человек натуральный» / Беседу вел А. Крылов // Библиогр. 1994. № 2 (март – апр.). С. 58–63.

*** Окуджавы Б. «Я дворянин арбатского двора...» / [Беседовал] Д. Гордон // Веч. Москва. 1990. 16 марта.

Жена, кстати, уйдя из физики, помогала мне много в переводах, писала хорошие стихи, прозу. Но никогда не позволяла себе ничего публиковать, хотя я просил и даже настаивал.*

Окуджавой опубликованы две драматургические работы с ее соавторством, а также песня «Парус», как выяснилось позднее, на ее стихи**. Видимо, поэтому в последней цитате следует читать: не публиковала никаких самостоятельных работ под своей фамилией.

Ольга Арцимович не склонна к воспоминаниям, поэтому и возможность ее прямого или соавторского участия в переводе книги Хаджи Расима, как и в других поздних переводах, исключать также не будем. Так что до прояснения этого момента, нуждающегося в привлечении дополнительных свидетельств, вопрос принадлежности данной работы требует доли сомнения.

С определением ее подлинного авторства связана и атрибуция анонимного предисловия к сборнику. В рукописи этого полуторастраничного текста подпись изначально была. Об этом свидетельствует хотя бы не убранный из текста оборот *мне кажется*. Причина, по которой автор предисловия не обозначен, также потребует выяснения.

А пока с уверенностью можно утверждать: в семидесятые—восемидесятые годы Окуджава время от времени возвращался к своей первой «кормящей» специализации, и переводил он не только стихи.

* Окуджава Б. Главное — человеческое достоинство / [Беседовал] Е. Типикин // Там же. 1996. 1 июля

** «Это было написано для одного из фильмов по сценарию А. Рыбакова. Не то “Кортик”, не то что-то еще. У меня что-то не получалась одна из песен, и Оля написала стихи. Я Рыбакову сказал: вот так и так. Он ответил: нет, я хотел бы, чтобы — ты. И оно пошло под моей фамилией. Такое было условие поставлено» (Окуджава Б. «Я человек натуральный». С. ??). По информации В. И. Босенко, песня была написана для тф. «Последнее лето детства» (1974).

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Алексей Пятковский

Воспоминания о Самиздате*

***Председатель Московской Хельсинкской группы
Людмила Алексеева***

– *Как и когда появился самиздат в СССР?*

– Это тайна великая есть. Известно только, откуда появилось это название – от Николая Глазкова, который ходил с такими самодельными переплетенными тетрадочками с его собственными стихами, называвшимися «самсебяздат». Потом народ – великий редактор и автор – превратил это название в «самиздат».

А как возник самиздат... На самом деле неподцензурная литература в России была всегда, поскольку в ней всегда существовала цензура. Допушкинские времена нам известны плохо, но вот уже во времена Пушкина его стихи ходили в списках. Правда, их тогда переписывали от руки. Однако это не был самиздат.

Самиздат, все-таки – совершенно определенное явление, которое появилось в послесталинское время. Хотя и во времена Сталина, конечно, люди все-таки писали воспоминания,

* См. «Грани» № 232 – 2009 г., № 236 – 2010 г. – *Ред.*

пряча их затем, и учили запрещенные стихи на память. Я, например, еще девчонкой знала запрещенные стихи Есенина благодаря тому, что моя тетка, мамина младшая сестра, читали их мне на память. Это тоже – своего рода самиздат.

Как массовое явление самиздат появился уже в послесталинскую эпоху, – думаю, что после XX съезда, когда сразу на свободу вышло много людей, которым не терпелось рассказать о всех тех муках, которые они претерпели, и о том жизненном опыте, который они получили. Они твердо знали, что напечатать все это будет никак невозможно.

Кроме того, сам факт рассказа генерального секретаря партии (*в действительности Никита Хрущев являлся первым секретарем ЦК КПСС, -АП*) с высокой трибуны о том, что целый важный пласт жизни нам подавался не так, как это было на самом деле, что многое от нас скрывалось, конечно, разбудил в людях желание преодолеть прежнее вранье и как-то запечатлеть эти неизвестные страницы из жизни страны.

Хотя цензура продолжала существовать, но и мы были все-таки вооружены уже пишущими машинками. Пусть сейчас, в век компьютеров, они кажутся жалким приспособлением, но работа на пишущих машинках была намного производительнее писания от руки. И если человек насобачивался писать на машинке, то это выходило гораздо, гораздо быстрее, чем от руки. Когда много упражняешься в этом, то навык появляется довольно быстро.

Помните, Галич пел: «“Эрика” берет четыре копии...»? Ничего не четыре копии! Я сама восемь-девять печатала на папиросной бумаге. Только надо было по клавишам стучать так, как будто молотком гвозди забиваешь.

Сочетание всего этого и породило самиздат. То есть, с одной стороны, осознание обществом, что многое от него скрывают и много ему врут. Во-вторых, сохранение цензуры, показавшее обществу, что ему врут, что от него скрывают правду и что у него нет возможности с помощью типографского станка рассказать то, что оно хочет рассказать.

И в-третьих, наличие пишущих машинок. При этом свою роль сыграло, может быть, и то, что в хрущевские времена стали получать отдельные квартиры и люди интеллигентных профессий с весьма средним достатком. В «хрущевке» можно было сесть за машинку, и никто бы в глазок за тобой не подглядел и через стенку бы не услышал, чем ты там занимаешься.

Как он появился? Это – очень забавная история. Я слышала уже от нескольких людей, что именно они присутствовали при появлении первого самиздатского произведения: мол, в их компании вот такой-то и такой-то сел за машинку и напечатал то-то и то-то. Ну и я присутствовала в такой компании. Я была вхожа в компанию, к которой принадлежали Синявский и Даниэль, так что мне сам Бог велел говорить, что самиздат родился в нашей компании. Я сама не то чтобы тоже принадлежала к этой компании, но дружила с Даниэлями и всех ее участников знала. Как и они – меня. Так что самиздат зародился сразу во многих местах, из-за чего люди думают, что именно они были свидетелями этого.

Помню, как я увидела первое самиздатское произведение. Это было у матери Александра Есенина-Вольпина – Надежды Давыдовны Вольпиной, которая жила около «Аэропорта» в маленькой отдельной квартире. Не помню, по какому поводу Алик устраивал у нее в тот день сабантуй, не то по случаю своего дня рождения, не то еще чего-то, на который и я была звана. Это было в пятьдесят девятом или шестидесятом году, когда Алик только что в очередной раз вышел из сумасшедшего дома. Так вот, кто-то из гостей, но не Алик, говорит: «А хочешь, я тебе что-то покажу?» И вынимает отпечатанную на машинке поэму Коржавина «Танька», которая тогда, конечно, еще не была напечатана.

А потом пошло-поехало. Сначала в самиздате ходили – или это мне так попадались? – только стихи – Гумилева, Ахматовой, Коржавина, Мандельштама, даже Есенина. Потом, после стихов, мне стали попадаться лагерные воспоминания. Это были, конечно, непрофессионально написанные вещи, но

очень впечатляющие человеческие документы. Правда, не все они вызывали сочувствие, – иной раз их писали очень твердокаменные люди.

А потом, в году шестьдесят первом, я и сама приняла участие в распространении самиздата. Было это так.

Мой тогдашний муж-физик взял домой халтуру – перевести какую-то английскую книжку по физике. Мы делали эту работу вместе: я от руки писала «рыбу», а он ее редактировал с точки зрения физики. После этого рукопись – она была толстая – надо было отдать перепечатать. И я ему сказала: «Чем платить большие деньги машинистке, давай купим пишущую машинку, я научусь печатать и сама ее перепечатаю. Таким образом, нам больше денег достанется за выполнение этой работы».

И мы пошли в магазин, где продавались пишущие машинки «Эрика» и еще какие-то – всякие там «Башкирия» и «Москва», которые по сравнению с «Эрикой» были ерундой, и купили самую тогда шикарную машинку – немецкую «Эрику». Никаких очередей тогда за ними не было, – они были довольно дорогие.

Мы приволокли эту «Эрику» домой и обнаружили, что к ней приложен самоучитель, в котором сказано, на клавишу с какой буквой каким пальцем нужно ударять. Я положила возле себя самоучитель и начала печатать эту книжку по физики. На ней я и научилась печатать. К тому времени, когда я закончила эту работу, я уже печатала вполне профессионально.

Затем я взялась перепечатывать стихи. Именно поэтому-то я и решила подбить мужа на покупку машинки. Первой была раритетная книга еще двадцатых годов с прекрасными переводами стихов Киплинга, которую я выпросила на несколько дней. Самые мои любимые стихи из этой книжки я перепечатала в шести или семи экземплярах и отдала их в переплетную мастерскую, (подумаешь, стихи Киплинга!), где мне их довольно красиво переплели. Один экземпляр я оставила себе, а остальные дарила своим друзьям. Таким образом я выпустила целую серию сборников, в том числе Ахматовой и Мандельшта-

ма, книги которых нельзя было купить, но можно было выпросить на несколько дней и перепечатать для себя. Это – очень соблазнительная вещь. И я всех их затем отдавала в переплет, потому что ничего запретного в этом в то время уже не было.

Но к тому времени, когда началось дело Синявского и Даниэля, я печатала уже не только стихи. Когда их арестовали, я путешествовала на теплоходе по реке, и мои подружки Наташа и Ада написали мне до востребования, по моему, в Ростов письмо о том, что «Андрюша и Юлик заболели». Поскольку я знала про то, что они публиковались за границей, то я сразу поняла, чем они «заболели», – «мы приходили к тебе домой и, несмотря на присутствие мамы, нам кое-что удалось». Во время этого визита одна из них «вешала лапшу на уши» моей маме, а другая, зная, где у меня лежит самиздат, выгребала его. Мы тогда все свои дома очищали от самиздата, потому что думали, что, может быть, пойдут его искать по домам знакомых. Правда, ко мне с этим не приходили.

Правозащитный самиздат появился вместе с правозащитным движением. А днем рождения правозащитного движения я считаю демонстрацию пятого декабря шестьдесят пятого года на Пушкинской площади, которая прошла под правозащитными лозунгами. В свою очередь эта демонстрация была проведена под влиянием гражданского обращения, которое было размножено на машинке и распространено в том числе по разным институтам.

Незадолго до этого, сразу после ареста Синявского и Даниэля, их знакомые начали писать письма следователям, в прокуратуру, в ЦК партии, Брежневу и уж не помню в какие еще инстанции. Писали в том смысле, что писатели имеют право выражать свое мнение, что мы, читатели, имеем право сами решать, что нам читать, и что цензура нарушает наши права. Причем писали, подписываясь своими именами и указывая свой адрес, а копии писем направляли в самиздат. И этим данная кампания отличалась от очень яростной кампании в защиту Иосифа Бродского, когда письма писали только в инстанции, а не распространяли в самиздате.

Давали их читать, может быть, только двум-трем знакомым. В данном же случае письма целенаправленно запускали в самиздат, и они затем оказывались в Новосибирске, Хабаровске и еще Бог знает где. Это было время рождения правозащитного самиздата как такового, и появление его чуть-чуть опередило день рождения правозащитного движения.

«Белая книга» – сборник, который составил Алик Гинзбург по материалам ареста и суда над Синявским и Даниэлем – тоже ходил в самиздате. А вот произведения Аржака и Терца то есть, Даниэля и Синявского я в самиздате не видела, хотя, может быть, они там и были. Я их встречала только в тамиздате, когда эти книжки стали проникать сюда, – вскоре после ареста их авторов. Впрочем, наверное, даже раньше, потому что у их жен эти книги к тому времени уже были.

На начальной стадии своего бытования правозащитный самиздат включал в основном короткие, на одну-две-три страницы, заявления и обращения по поводу судов и арестов. А зрелая стадия развития правозащитного самиздата характеризовалась появлением уже периодического издание – «Хроники текущих событий». Кроме того, после каждого политического судебного процесса стало просто уже обязательным распространение в самиздате записи его хода. А после крупных процессов по образцу того, что сделали Вигдорова по поводу суда над Бродским и Гинзбург по поводу суда над Синявским и Даниэлем составлялись и толстые сборники, скажем, не в пример «Белой книге», сборник по поводу суда над Гинзбургом и Галансковым.

Но самиздат создавали не только московские правозащитники. Был и очень большой местный самиздат. Его изготовлением занимались, например, баптисты и адвентисты. У адвентистов, скажем, имелись целые подпольные типографии для печатанья религиозной литературы. Они печатали Евангелие и произведения своего лидера Владимира Шелкова. Свои типографии они устраивали не в Москве, а в очень глухих местах, и это был провинциальный самиздат. Они прониклись таким уважением к Московской Хельсинкской группе, что сделали нам такой подарок о котором мы их

даже не просили – привезли огромную пачку отпечатанных типографским способом бланков Московской Хельсинкской группы. После этого свои документы мы распространяли на этих бланках с нашим логотипом. Это было замечательно.

Имелся свой небольшой самиздат и у петербургского андерграунда. Однако других таких «гнезд» самиздата, как Москва, было не так уж много.

Очень развит был самиздат и у крымских татар, которые документировали все свои судебные процессы. Кроме того, они необычайно активно писали свои письма – очень длинные, с перечислением всех страданий крымско-татарского народа, с ссылками на Ленина и на кого хотите и с огромным числом подписей. Они тоже ходили в самиздате.

Был еще очень большой – сильный и самостоятельный украинский самиздат. Причем периодических изданий на Украине было больше, чем у нас. По количеству названий, а не по тиражу. Он распространялся и на русском, и на украинском языке не только в Киеве, но и в Харькове, и во Львове. Это был и художественный, и правозащитный самиздат, он включал полноценные и художественные, и публицистические произведения.

В частности, книгу Дзюбы, написанную в форме письма в ЦК партии по поводу русификации Украины. Когда украинцы через лагеря познакомились с москвичами, то не поленились эту книгу перевести на русский и напечатать, а затем прислать ее нам для того, чтобы мы знали про русификацию и их страдания. Она на московских правозащитников произвела очень сильное впечатление и очень хорошо объяснила нам украинские проблемы.

– У меня имеется к Вам эксклюзивный вопрос насчет того, когда в самиздате появились произведения Авторханова.

– Я их в самиздате не видела. Видела только в тамиздате. Помню, что его книжка впервые попала мне в руки весной шестьдесят девятого года, и я взяла ее затем читать с собою

в отпуск в Сухуми. Потом у меня появилась другая его книга – «Технология власти», которую я в семьдесят пятом году отдала Вячеку Игрунову в одесскую библиотеку самиздата. Но это все был тамиздат.

Я думаю, что, поскольку Авторханов творил за границей, то и книги его изначально могли поступать в оборот в СССР только в виде тамиздата.

– Но было еще и такое явление, как перепечатка тамиздата? Все мы, работающие над темой самиздата, сошлись в том, что такие перепечатки являются уже самиздатом...

– Да, с чего бы ни перепечатывали, это все равно будет самиздат. У меня, например, есть экземпляр моей тамиздатской книжки «История инакомыслия в СССР», воспроизведенной в Новосибирске фотоспособом. Это – большая награда для автора, когда его книгу – четыреста пятьдесят страниц! – размножают таким образом.

– Когда и почему самиздат в СССР прекратил свое существование?

– Когда цензура закончилась.

Если вдруг сейчас цензура вернется, то мы вновь возьмемся за самиздат. Но только это будет для властей страшная вещь, потому что теперь у нас есть компьютеры, принтеры, факсы.

– А когда прекратилась цензура?

– Не могу сказать, потому что меня в это время не было в СССР. Я впервые со времен эмиграции приехала в страну в девяностом году, и тогда самиздата уже не было. В тот раз Лариса [Богораз?] преподнесла мне журнал, в котором уже были произведения Толи Марченко, статья о Даниэле и так далее. Я думаю, что в это время самиздат и прекратился – как только стало можно все печатать.

– *Александр Даниэль считает, что самиздат начал умирать уже в конце семидесятых годов.*

– Я с этим не согласна. Число распространяемых произведений к этому времени не уменьшилось и, кроме того, появилось порядочно тамиздата. Но самиздат не прекратился.

– *Даниэль обосновывает это свое утверждение тем, что тамиздат вытеснил самиздат.*

– Нет, он не вытеснил, он лишь добавился к самиздату. Спрос на неподцензурную литературу сохранялся очень большой, и удовлетворить его было невозможно ни самиздатом, ни тамиздатом. Это Даниэль встречал тамиздат, а ведь имелось сколько угодно людей, которым тамиздат был недоступен. У меня тоже были груды тамиздата, потому что ко мне ходили иностранные корреспонденты и я в течении трех лет переправляла самиздат на Запад.

Я уехала из СССР в семьдесят седьмом году, и последние три года перед этим являлась основным каналом переправки правозащитного самиздата. У художественного самиздата имелись, наверное, свои каналы, хотя кое-что из художественного самиздата я тоже переправляла. Я его буквально чемоданами отправляла. Его было очень много, очень много, и это были все перепечатки на машинке. Причем не только из Москвы.

– *Каковы были цели и пути распространения самиздата.*

– Цели понятны – самовыражение. Ведь почти никакое человеческое чувство выразить через цензуру было невозможно. Под конец было уже совсем черт знает что: были недоступны стихи Окуджавы, Высоцкого, которых не печатали, хотя они – не какие-нибудь там антисоветчики.

Что касается путей распространения, то это, прежде всего, из рук в руки. Очень редко самиздат переправлялся по почте,

потому что она была под контролем. И тем более удивительно, что самиздат доходил до Владивостока, Хабаровска, Новосибирска и Иркутска. Значит, люди не ленились его возить.

– *Существовал ли рынок самиздата?*

– Существовал. Я не знаю, продавали ли самиздат на черном книжном рынке вместе с дефицитными книжками, но сам по себе такой рынок существовал, и я даже в нем участвовала. Вообще, самиздат я печатала, конечно, бесплатно. «Хронику...», например, совершенно точно. Даже и речи не было о том, чтобы делать это за деньги.

Однажды, поскольку я много лет печатала первую закладку «Хроники...», кто-то завел об этом речь, но я сказала: «Нет, я не буду за это деньги брать. “Хроника...” – это для души». Это, кстати сказать, подтвердил на допросе и Ваня Рудаков.

Однако в шестьдесят девятом году мой младший сын закончил школу. Пока он учился в школе, он ходил в школьном костюме, у которого рукава были короткие – он ужасно вырос из него – и латки на коленях. Но в университет-то мальчика надо было отправлять не в школьной форме, а в каком-нибудь, пусть дешевом, но костюме. Кроме того, в течение долгих лет до этого у нас не было возможности заниматься его гардеробом, и так получилось, что ему надо было все покупать, начиная от трусов и маек и кончая обувью и зимним пальто.

Когда я приценилась к самым даже дешевым вещам, получилась какая-то просто астрономическая для меня цифра. И тогда я подумала, что за лето я смогу заработать деньги на самиздате.

А надо сказать, что для самиздата у меня была специальная машинка – старинный «Ундервуд», который весил, по-моему, пуд. Я его купила в комиссионном магазине. Поскольку футляра у него не было, то я была вынуждена таскать его в хозяйственной коробке, укутав сверху одеялом для того, чтобы не было видно, что это – машинка.

Домой я этот «Ундервуд» не брала – дома у меня стояла «невинная» машинка, на которой я не печатала ничего запрещенного, а зарабатывала перепечаткой, редактированием и так далее. Только таскала по таким знакомым, которые ни в чем запрещенном не участвовали и к которым не могли прийти с обыском.

Однако долго из них никто не выдерживал. Когда я оставляла не только эту поганую машинку, но и часть напечатанного (если я не успевала что-то до конца напечатать, – то люди начинали нервничать, из-за чего машинку приходилось забирать и искать ей какое-то другое пристанище.

Это продолжалось до тех пор, пока я не набрела на маму Майи Улановской – Надежду Марковну Улановскую, которая жила около Красных Ворот. Когда она и ее муж вернулись из заключения, то получили эту квартиру как старые большевики. В доме у них был такой чуланчик, где поселился мой «Ундервуд» и где находился справочный комплект «Хроники...». Когда печатаешь «Хронику...», часто возникает необходимость посмотреть, когда того или иного человека арестовали и когда был суд.

Так вот, до знакомства с Улановской я ходила по знакомым с этим «Ундервудом» и печатала там книжки на продажу. Правда, уже не семь экземпляров, а шесть или пять, – чтобы на них хоть что-то видно было. Я напечатала тогда «В круге первом» и «Раковый корпус», «Новый класс» Джиласа, «Двадцать писем к другу» Аллилуевой, что-то еще.

Печатала эти книжки, и их мне затем переплетал Игорь Хохлушкин. Я с ним была очень мало знакома, но это был свой человек, которому можно было эти книги отдать в переплет. Он знал, что я ему даю. Это был болезненный человек, который как-то плохо кончил: по-моему, его кто-то избил, и он после этого довольно быстро умер. Переплетенные им книжки я продавала.

У моего мужа был круг знакомых, состоявший из довольно известных молодых математиков. Это – Никита Введенский, Юлик Добрушин, Синай и другие. Они были процве-

тающими учеными и заядлыми читателями самиздата, и им я его и продавала по какой-то низкой цене, по-моему, пятнадцать копеек за страницу. Помню, что была еще разница в цене между первым экземпляром, третьим и пятым. Приносила им весь свой тираж – пять–шесть книжек, а они его между собой раскидывали, и это для них выходило не очень дорого. Короче говоря, так я своего сына благодаря самиздату одела, и на экономический факультет университета он пошел во всем новеньком. Теперь он у меня профессор экономики Университета Индианы Майкл Алексеев.

Еще я знала такого Эрика Руденко. Он никогда ничего не подписывал и вел себя осторожно. При этом он очень страдал от того, что ничего не подписывает и никто не знает, какой он заядлый диссидент. «Светиться» он не хотел из-за того, что у него была самиздатская «фирма», – машинистки, которые печатали самиздат за деньги. Он находил таких машинисток, давал им книжку на перепечатку, забирал потом напечатанное и сам продавал. Он имел с этого что-то за комиссию, но это, конечно, не были большие деньги. И это предприятие не было прибыльным, потому что риск не оправдывал тех небольших денег, которые он с этого имел.

Основана же эта его деятельность была, в первую очередь, на убеждениях и энтузиазме. Поскольку ему было очень горько от того, что он ничего не подписывает, Эрик и открыл мне тайну про эту свою контору с тем, чтобы я знала, почему он ничего не подписывает, и сказал, что если мне надо, то он всегда может запустить какой-то текст в производство. И я этим несколько раз пользовалась, когда нужно было изготовить тираж чего-либо и когда на это имелись деньги.

А позже я и сами завела машинисток – правда, мои машинистки печатали не за деньги, – для перепечатки документов Московской Хельсинкской группы. Печатать надо было много, а у самой меня просто не хватало времени изготовить весь тираж, так что я делала только первую закладку. А остальное делали мои девочки и старушки, которые печатали бесплатно и очень гордились тем, что помогают Московской Хельсинкской группе.

– *Вспоминаете ли Вы какие-нибудь интересные моменты, связанные с оборотом самиздата?*

– Был такой случай, связанный с «Хроникой...». Я работала тогда в ИНИОНе, и моими коллегами были две дамы, впоследствии довольно известные – Рената Гальцева и Ирина Роднянская. Мы были совсем не единомышленниками. Ирина Роднянская была тогда погружена в православие, а Гальцева являлась последовательницей Солженицына, причем, я бы сказала, больше националистически настроенной, чем он сам. Они дружили между собой, а со мной имели уважительные отношения как с коллегой по работе.

Как-то раз они ко мне подходят и говорят: «У нас есть один знакомый высокопоставленный чиновник, который является тайно верующим, и он хотел бы передать для «Хроники...» материал, связанный с темой Русской православной церкви. Как это можно сделать?»

Я говорю: «Ну, пусть мне расскажет». Я им вполне доверяла и понимала, что они не пойдут на меня доносить. К тому же, я ведь не говорила, что передам этот материал в «Хронику,,,»; я просто сказала: «Пусть мне расскажет».

И вот они меня куда-то повезли на машине, привезли в какую-то квартиру, где меня встретил человек, который мне не назвался. Он стал мне рассказывать о том, как присутствовал на закрытом совещании в ЦК по поводу ситуации с религиями в Советском Союзе. На совещании звучала информация о том, сколько у нас в стране православных храмов, сколько мечетей, сколько у нас синагог, сколько у нас священников и так далее и тому прочее.

Это был очень интересный статистический материал, и я его рассказ записала своей собственной рукой – сам он мне ничего не передавал. И передала в «Хронику...».

Кто был этот человек, я до сих пор не знаю.

Коротко об авторах

Ж и р м у н с к а я Тамара Александровна — современная писательница, автор двенадцати книг, вышедших в Москве, среди которых сборники лирических стихов: «Район моей любви», «Забота», «Нрав», «Праздник», и другие.

Ее избранные стихи, мемуарная проза и повесть «Вместе со светом» вошли в книгу «Короткая пробежка» (2001).

Недавняя работа Тамары Жирмунской — беседы о Библии и русской поэзии за три века: «Я — сын эфира, Человек» (2009).

Член Союза писателей Москвы и Русского ПЕН-центра.

Лауреат премии Союза писателей «Венец» в номинации поэзия. Живет в Мюнхене (Германия).

В «Гранях» в № 215 опубликовано ее литературное эссе «Дальние и ближние голоса», в № 227 «Мы — счастливые люди» — о писателе Юрии Казакове, в № 231 «“Ты”, которое стремится к “Вы”» — воспоминания о Булате Окуджаве, в № 233 эссе «Раненый жемчуг» о встрече с поэтом Валерием Перелешиним; в № 238 «Спасти шмеля».

К а ц у р а Александр Васильевич, писатель и художник. Родился в Москве в 1941 году. В 1964 окончил физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова.

Преподавал физику в университете Дружбы народов имени П. Лумумбы; работал старшим инженером в институте «Электроника», затем в Институте философии Академии Наук.

Кандидат философских наук.

Опубликовал более двухсот научных работ и свыше ста художественных произведений.

Автор десяти книг, среди них «В погоне за белым листом», «Дуэль в истории России», «Наброски к теории чудес» и другие.

Член Союза российских писателей.

Член Московского объединения художников Международного художественного фонда. Участник ряда отечественных и зарубежных выставок.

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Крылов Андрей Евгеньевич родился в Москве в 1955 году.

Литературовед; историк и библиограф авторской песни. Составитель и главный редактор самиздатской газеты «Менестрель» (1979—1985), научных альманахов «Мир Высоцкого» (1997—2002), «Галич, новые статьи и материалы» (2001, 2003, 2009); «Голос надежды: Новое о Булате» (выходит регулярно с 2004).

Текстолог, комментатор и составитель ряда сборников Владимира Высоцкого и о нем (с 1982). Автор трех книг об Александре Галиче и Булате Окуджаве, многих статей об авторской песне и ее создателях.

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ в № 239 опубликован материал «Цена вопроса».

Крячко Борис Юлианович родился в селе Красная Яруга Курской области в 1930 году.

Он был человеком классически образованным – окончил филологический факультет романского отделения Ростовского университета, хотя зарабатывать на жизнь приходилось «прикладными» профессиями – судоремонтником, истопником.

Впервые как самобытный русский писатель заявил о себе в начале восьмидесятых в Германии, где в «Гранях» была опубликована его повесть «Битые собаки». Московские друзья через немецких туристов переслали фото пленку с текстом, подписанным «Андрей Койтс».

В Эстонии, где писатель прожил последние двадцать пять лет (он ушел от нас в 1998 году) «Битые собаки» в начале перестройки издали отдельной книгой. В России, где только начинают узнавать творчество Б. К., в журнале «Дружба народов» (№ 1, 2000) опубликована повесть «Края далекие, места – люди нездешние».

Биографическую прозу «Язык мой..» (№212) передал в журнал писатель Александр Зорин (См. публикацию в № 210 «Нестандартная фигура. Борис Крячко в письмах и воспоминаниях»).

В ГРАНЯХ в № 218 опубликована повесть Б.К. «Концерт для скрипки», в № 231 рассказ «На старости лет».

Л е в и н а Елена Борисовна родилась в Москве. Закончила географический факультет МГУ имени Ломоносова в 1952 году. По профессии геоморфолог. Работала в геологических экспедициях в пустынях Средней Азии, в предгорьях Тянь-Шаня, а также на Русской равнине. Затем по изучению ландшафтов СССР по космическим снимкам для составления мониторинга природной среды. Преподавала географию в средней школе.

Составитель альбома и каталога работ художницы Евы Павловны Левиной-Розенгольд.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

М у н т я н Елена родилась в 1959 году в Москве. Окончила Московский полиграфический институт. Журналист, писатель. Сотрудничает с журналами «Караван историй», «Крестьянка», «Россия», «Вышгород»(Таллинн), где печатает эссе и рассказы.

В 2001 году в журнале «Вышгород» опубликован роман «Сон ветра, песня камня».

В 2003 году вышла книга «Рыцарь и ангел», куда вошли несколько повестей и эссе.

В ГРАНЯХ в № 233 опубликован рассказ «Осень художника».

Н и к о л а е в Владимир Дмитриевич (1925–2008) родился в Москве.

В 1941–1946 годах служил в Военно-Морском Флоте.

Окончил факультет журналистики Московского университета.

Корреспондентом журнала «Огонек» объездил полмира, несколько раз путешествовал по Соединенным Штатам Америки.

Автор трех десятков публицистических книг, из них – двадцать две об американцах и их повседневной жизни.

Его книга «Американцы» дважды выходила в издательстве «Советский писатель», переведена на несколько языков, в том числе на английский.

В 2002 году вышла книга В.Н. «Сталин, Гитлер и мы». В ней говорится о некоем мистическом родстве между диктаторами. В 2005 году издательство «Терра» выпустило эту книгу со значительными дополнениями.

В 2007 году в издательстве ЭНАС вышла итоговая книга В.Н. «Красное самоубийство».

В ГРАНЯХ (№ 217) опубликована его рецензия «Любовь и память» на книгу А.М. Славуцкой «Всё, что было...». В №№ 225, 226 –

документальная повесть «Сталинский лицей», в № 227 – «Война», в № 228 «Открытие Америки», в № 229, 230, 231 и 232 «Тайны придворной летописи». Уникальное издание «Огонек»; в №№ 233 и 234 – «Правдинский монастырь».

С п е к т о р Владимир Давыдович родился в 1951 году.

Окончил машиностроительный Институт. Автор двадцати пяти изобретений, член-корреспондент Транспортной академии Украины.

Любимые поэты – Пушкин, Тарковский, Самойлов, Межиров, Шпаликов, Чухонцев, Левитанский.

В девяностые годы получил возможность реализовать свои способности на радио и телевидении, где создал сотни авторских программ, став лауреатом региональных журналистских конкурсов.

Член Национального Союза журналистов Украины, главный редактор литературного альманаха «Свой вариант». Автор девятнадцати книг стихотворений и очерковой прозы.

Живет в Луганске (Украина).

В ГРАНЯХ в № 236 опубликовано интервью В.С. с писателем Жоржем Нива: «Литература не спасает от зла. Она пишет о нем...»

Ф и ш м а н Виктор Петрович родился в Днепропетровске в 1934 году.

В 1957 закончил Днепропетровский горный институт, инженер-геофизик. Работал в Донбассе на шахтах, опасных по взрыву газа и пыли.

С 1960 по 1990 занимался изучением блуждающих токов и защитой подземных сооружений от коррозии. Автор около тридцати патентов и авторских свидетельств, кандидат технических наук (1974).

Первые публикации появились в научно-популярных журналах «Наука и жизнь», «Химия и жизнь» в 1978 году.

С 1996 года постоянно живет в Германии, в Мюнхене. С этого времени печатается в русскоязычной прессе Америки, Израиля, Германии.

В 2001 году в Днепропетровске в издательстве «Интеграл» вышел роман «Формула жизни», первое художественное произведение автора.

В ГРАНЯХ в № 236 опубликован его материал «Узник в спасительной гавани».

Содержание томов №№ 237–240, 2011

<i>«И если есть на свете Божество...»</i>	237
<i>«Настанет день – не станет ночи...»</i>	238
<i>«...Никогда человеческие ценности не были до такой степени девальвированы...»</i>	239
<i>«Забывтый Богом и людьми...»</i>	240

ПУБЛИЦИСТИКА

НИКОЛАЕВ Геннадий. Встреча с АДС	240
ЧУБАЙС Игорь. Россия – разделенная во времени страна	239

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

АННИНСКИЙ Лев. На кренящейся палубе. <i>Георгий Владимов</i>	238
КРЫЛОВ Андрей. Цена вопроса	239
НИКОЛАЕВ Геннадий. Кольца удава или Зерна оптимизма на полях пессимизма	237
ФИШМАН Виктор. Быть немцем – это всеми делами служить России	240

ПОЭЗИЯ

АВЕРЬЯНОВ Евгений.	
«Только любовь...»	239
ВАЛЬШОНОК Зиновий.	
«...Души печаль и торжество»	237
ГЛАЗКОВ Николай.	
«Светлее облака и снега...»	238
ЗОРИН Александр.	
«Грёзы земли...»	240
МЕДВЕДЕВ Давид.	
«...Вершин угрюмая свобода»	238
СУГЛОБОВА Ирина.	
«В бездне всех переставленных вех...»	239
ФУНИКОВА Анна.	
«Из безбрежной мглы веков...»	240
ЧИЧИБАБИН Борис.	
«Лирическая поэзия, как взаимная любовь...»	237

ПРОЗА

АЛЕКСЕЕВ Владимир.	
Без конца дни и ночи	240
НИКОЛАЕВ Владимир.	
Сталинский лицей	238, 239
КАРАМЗИН Александр.	
Адъютант Его Превосходительства	238
КРЯЧКО Борис.	
Трещина	240
ХАЗАНОВ Борис.	
Жабры и легкие языка. Париж и все на свете	239
ХАНДУСЬ Олег.	
Семенов и трое усталых солдат. <i>Повесть</i>	237, 238

- ШУБИН Владимир.**
Тень, бегущая по обочине 237

АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

- АГЕЕВА Людмила.**
Не плачь, я тебя спасу 239
- КАЦУРА Александр.**
Окошко трамвая 240
- МУНТЯН Елена.**
Сон Инес 240
- РАХМАНИН Борис.**
Привет Почтмейстеру! 237
- ФАДИН Вадим.**
Искушение воздушного змея. Голубая Богородица.
Карусель для одиночки. Иными языками и устами.
Похороны меня 238

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

- ГЕРЦЫК Евгения, ГРИНЕВИЧ Вера.**
«Дорогая, бесконечно дорогая...» 239
- ЖИРМУНСКАЯ Тамара.**
Спасти шмеля. *Арсений Тарковский* 238
«Что отдал – то твоё...» 240
- ЗАВАДОВСКИЙ Юрий.**
Как я стал востоковедом. *Билибин и Восток* 239
- ЛЕВИНА Елена.**
«Они были молоды... Они были талантливы...» 240
- СЕМЫНИНА Наталья.**
Долгая память поэта. *Записки дочери* 237, 238

СПЕКТОР Владимир. Владимир Даль. <i>Страницы жизни</i>	240
--	-----

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

ПЕСТОВ Сергей. Странное христианство Елены Чудиновой	237, 239
УРУШЕВ Дмитрий. По тайному священству	238

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ЖИЛКИНА Татьяна. Тридцать дней февраля	239
--	-----

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

КРЫЛОВ Андрей. «Былое нельзя воротить...»	240
НЕСУМОВА Татьяна. Стихотворение Бориса Пастернака «Памяти Марины Цветаевой»	237

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПЯТКОВСКИЙ Алексей. Воспоминания о Самиздате. <i>Людмила АЛЕКСЕЕВА,</i> <i>Председатель Московской Хельсинской группы</i>	240
---	-----



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СПУСТЯ

ТРЕТИЙ ВЫПУСК

*Готов к изданию Третий выпуск
«Тарусских страниц» к полувековому
юбилею легендарного альманаха*

Первый выпуск сборника «Тарусские страницы» в 1961 году с благословения и при участии писателя Константина Паустовского стал поистине событием в литературной и общественной жизни России.

Второй — «Тарусские страницы. Тридцать лет спустя» был собран в 1991 году еще при жизни Николая Панченко, Булата Окуджавы, Владимира Корнилова...

Двенадцать лет редколлегия альманаха тщетно боролась с капитализацией книжного рынка в России. Сборник был издан журналом «Грани» в 2003 году и счастливо повторил судьбу Первого выпуска — разошелся мгновенно, в том числе и за рубежом — США, Франция, Великобритания, Швейцария, Германия, Канада и другие страны. Эта же география распространения ждет и Третий выпуск в случае его издания, но сегодня издательские расходы в России непомерно возросли.

Третий выпуск — это не просто дань памяти замечательным писателям, для которых «Тарусские страницы» стали судьбой, но и живая нить лучших традиций русской литературы, протянутая через десятилетия в XXI век, в наше такое непростое время.

Юбилейный выпуск наследует главный принцип двух первых — открывать таланты. В альманахе представлено и русское Зарубежье, а также материалы из архивов, эпистолярное наследие, мемуары:

Павла Антокольского, Анны Ахматовой, Василия Гроссмана, Юлия Даниэля, Юрия Домбровского, Вячеслава Иванова, Юрия Казакова, Бориса Корнилова, Булата Окуджавы, Николая Панченко, Константина Паустовского, правнучки А.С. Пушкина — Наталии Мезенцевой-Пушкиной, Андрея Тарковского, Марины и Анастасии Цветаевых, Варлама Шаламова и других.

Вернисаж Третьего выпуска «Тарусских страниц» представляет с акварельными пейзажами Тарусы художник Борис Мессерер.

Приглашаем к участию в издании меценатов, если еще оные не перевелись на Руси.

Наш адрес:

E-mail: grani.08@mail.ru

Редакция журнала «Грани».

ОБРАЩЕНИЕ

**Редколлегии журнала ГРАНИ к русской эмиграции,
литературной молодежи и студенчеству стран Европы,
Америки, Азии и Австралии**

Нет сегодня в России еще журнала с такой удивительной, прекрасной и трагической судьбой, как ГРАНИ.

С момента основания, за свою более чем полувековую жизнь, журнал помог выжить литературе под коммунизмом и доводил до подсоветской части интеллигенции традиционные линии российской культуры, которые не только сохранялись, но и развивались в эмиграции.

Творцы журнала никогда не знали, какое количество экземпляров – порой с риском для жизни тех, кто это делал, – пересечет границу. Но они были твердо уверены в том, что каждая их строка обязательно будет прочитана ТАМ. И что от первого читателя журнал попадет ко второму, третьему, четвертому... и по цепочке окажется у человека, который перепечатает его в нескольких копиях.

В том, что идеи свободного мира расходились за железным занавесом как круги по воде, есть бесспорно заслуга ГРАНЕЙ. Взрыв габистской бомбы у редакционного порога свидетельствовал об этом как нельзя более красноречиво.

Люди, подвижничеством которых живет журнал в России в наши дни, уверены в нужности своего дела так же твердо, как и их предшественники. Да, в стране нынче можно распространять любые идеи, печатать любую литературу, однако восприимчивость общества невероятно упала.

Если в гробовой атмосфере официального единомыслия тоталитарного мира эффект ГРАНЕЙ и ПОСЕВА был эффектом громкого шепота среди тишины, то сегодня, когда сотни независимых источников предлагают свои – увы! – часто совершенно безответственные версии, объяснения, программы и прогнозы на будущее, информационный шум стал ревом Ниагары.

Вот почему все больше сбитых с толку людей обращаются к привычным и проверенным журналам, радиостанциям и т. д.

Для тысяч и тысяч российских интеллигентов логотип ГРАНЕЙ – знак качества высшей пробы. Этих людей не стоит недооценивать. Их влияние непропорционально их количеству. Все мы помним, что куда меньшее число диссидентов совершило в нашей стране то, что когда-нибудь будет названо «чудом конца восьмидесятых».

В условиях, когда слишком многие российские СМИ, слышущие демократическими, открыто заигрывают с коммунистами, шовинистами, расистами, изоляционистами, ненавистниками Запада, врагами либеральных ценностей, особенно важно, чтобы журнал, который ощущается одним из необходимых российских институтов, продолжал выходить.

Сегодня ГРАНИ издаются в России в судьбоносное для страны и такое трудное для литературных изданий время исключительно на средства зарубежных подписчиков.

Учитывая ценность журнала для будущего России, а также для русской эмиграции, которая по-прежнему живет тревогами и болью своего Отечества, просим Вас помочь в распространении журнала в 2011 году от Р.Х.

За 2010 год вышли №№ 233, 234, 235 и 236, которых у Вас, возможно, нет.

**Адрес редакции журнала ГРАНИ
для оформления подписки, писем и сообщений:**

**GRANI
BP 24 CHENNEVIER–SUR–MARNE
CEDEX 94431
FRANCE**

О том, по какому адресу мы должны Вам послать журналы, а также об отправке Ваших денег убедительно просим известить по вышеуказанному адресу или по e-mail:

grani.08@mail.ru

Принимаем заявки на подписку 2011 и 2012 годов от Р.Х.

Учредитель:
Journal «Grani»

Ассоциация «ГРАНИ»
L'association «GRANI»
De l'association n w751170197
Paris

*Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора,
не обязательно выражают мнение редакции.*

Не принятые к публикации рукописи не возвращаются.

Перепечатка без разрешения воспрещается.

Оригинал-макет – Евгения Яновича
Корректор – Анна Сидорова

Подписано в печать 12.XI.10. Формат 84 × 108 ¹/₃₂.

Печать офсет. Бумага офсет. № 1.

Усл. печ. л. 7,5. Уч.-изд. л. 10 .

Тираж 150. Заказ № 7088.

Отпечатано в ООО ПФ «Полиграф-Периодика»,
г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3

Journal «Grani»

**Журнал ГРАНИ - 2011.
№237, №238, №239 и №240**

**Для оформления подписки,
писем и сообщений:**

**GRANI
BP 24 CHENNEVIER-SUR-MARNE
CEDEX 94431
FRANCE**

Представители:

РОССИЯ T. Jilkina
17, Milashenkova str., app. 61
127322, Moscow
E-mail: grani.08@mail.ru

АМЕРИКА K. Troosh
600 Fifth Ave
San Francisco CA 94118
E-mail: katia@katias.com

ФРАНЦИЯ N. Fedorovsky
16 square J.-B. Pigalle
77680 Roissy-en-Brie
Tel.: 01.60.28.36.57

**Спрашивайте журнал ГРАНИ
в библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга**

